

МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И ЗАПИСЬЮ

некоторые фрагменты из фб

Первая любовь

История такая. 1981 год, мне 22. Только что в Москве с предисловием Андрея Вознесенского опубликован роман в стихах "На фоне неба и во всю длину", первая моя публикация. Поток писем со всей страны. Радость сменяется сомнениями и депрессией, решаю бросить писать, ухожу в двухлетний разгул, перемежаемый дальними одиночными странствиями (Байкал, пустыня, Заполярье...). В августе с друзьями отправляюсь в Крым, в Понизовку (рядом с Симеизом), наряжаемся в трико для штангистов, угоняем трактор, стаскиваем этим трактором строительный вагончик с горы на дикий пляж, обустроиваемся, весело живем. В один из дней вижу на пирсе ее, она прыгает и летит – так невозможно долго, что тело и ноги ее скрываются под водой лишь с последними лучами солнца. Знакомимся. Она белошвейка из Ясной поляны (под Мисхором), зовут N., ей 19. Пару дней спустя мы с друзьями идем на танцы, где я должен увидеть ее, идем в приличном хмелю. Там сталкиваемся с молодцами из харьковского танкового училища, они приезжают ежегодно – поразмяться в рукопашной. Их около полусотни. Кто-то из них уже волочит за руку N. Вступаем в бой. Дальше я помню только следующий день: сидим у моря, пьем чачу, у меня три перелома челюсти, рот зашит, зубы стянуты проволокой, цежу сквозь нее чачу. Чувство к N росло и терзало, это было впервые так остро, хотелось обнять ее, сказать, как люблю ее, впервые сказать эти слова, и – я был лишен речи. Не говоря уж об одутловатом лице, боли и запахе изо рта. Поэт, трубадур – с зашитым ртом. И как раз в тот час, который бывает единственным в жизни. Плыл в горизонт и выл туда о любви. Друзья разъехались, я остался, пришла осень, перебрался в полуразрушенный дворец Водарского (над Ялтой), там еще бомжевала милая пара – он, сбежавший из тюрьмы, и она – юная декабристка, с ними еще была такса и полутораметровый варан, который эту таксу то и дело игриво заглатывал и сблевывал – в детской песочнице. А я спускался к морю, брал по пути в библиотеке очередной том Достоевского, пару яиц (чтоб взболтать их в стакане и цедить) и считал дни, когда снимут эти зубные вериги. Месяц спустя их сняли, я приедлся и поехал в Симферополь, где она училась... Ясно, что это осталось со мной навсегда, и в Гурзуфе у меня на стене до сих пор висит ее портрет, нарисованный. И под сердцем я ношу крест, прорезанный кухонным ножом и залитый тушью в Симферополе. Удивительно другое. Я знал, что она вскоре вышла замуж за какого-то геолога, что у нее трое детей, что она живет в придорожном поселке Чистенькое (!), под Симферополем, в частном доме с водой на улице, что, наверное, руки ее от бесконечных зимних постирушек стали похожи на варежки, что прошли годы, а потом и много лет, что ее – той N, уже давно нет, что теперь это какая-то раздобревшая и обветшавшая тетка с геологической фамилией, и все же, время от времени, оказываясь в Крыму, я пытался найти ее, и однажды, спустя двадцать лет, я дозвонился в соседний к ней дом (у нее телефона не было) и ждал, пока ее позовут, пока она придет (придет ли?), так долго – как тогда, когда она летела с пирса, пока не зашло солнце. И вдруг услышал ее голос – родной, девятнадцатилетний, будто и не было этих лет и жизнь не прошла. И как тогда, но уже по-другому – слова сказать не мог. Но договорились, что она приедет – по дороге к родственникам в Ясную поляну, я ее буду ждать на трассе. Не мог уснуть накануне, воображая варианты возможного и не. И, обессилив, сморился под утро в кресле. Звонок – в дверь. Она – на пороге – совсем не изменившаяся, та же девочка, с той же милой, чуть заторможенной, как из дальней дали улыбкой. И весь день потом мы ходили с ней, взявшись за руки, как дети, и я совершенного не помню ничего из этого дня, кроме ее ладони в моей руке, волшебного света и тихого счастья. А потом мы зашли в

какое-то кафе, и она, чуть виновато взглянув на меня, спросила: можно ли взять ей этот остаток пиццы домой – для детей? А потом я все искал тот телефон соседнего домика, но его нигде не было.

На волоске

Смотрел вчера фильм о самовосстановлении клеток, о ДНК. Конечно, я знал, что жизнь требует ежесекундных усилий, но не думал, что до такой кромешной степени. То есть естественное состояние органики – не быть. И каждую долю секунды в нас (и во всем живом) происходит слом, подмена, клетка перестраивается в сторону небытия, и только искусственными изощреннейшими усилиями клеточного же "спецназа" клетка чинится, возвращаясь к жизни. И в следующую долю секунды происходит следующий слом. Это как если бы река, неизъяснимыми силами самой реки, текла не вниз, а вверх. То есть еще раз: ДНК, основа жизни, не просто не хочет жить, но ежесекундно пытается покончить с собой, и лишь невероятными усилиями этого спец. отряда возвращается к жизни. С Седьмого дня на божьем волоске всё висит.

Взятие Азова

К концу 70-х нам с моим другом Валиком Добровольским было около двадцати. К этому времени мы вместе и порознь уже исколесили на товарняках от Карпат до Байкала, сходили в несколько сотен походов, сбегали в комнатных тапках на Эльбрус, налетались «зайцами» на самолетах, затерялись в пустыне и заполярье... Но не хватало чего-то этакого – «цветка в петлицу». И вот купил я в киевском универмаге резиновую лодку – из тех, на которых сидят в камышах, высота борта над водой – 15 см., стоила она 120 рублей. И решили мы переплыть на ней океан.

Главной неразрешимой задачей был для нас не «железный занавес», а железная мачта: как ее изготовить и установить на надувной лодке? Друг мой работал на заводе и был тем еще кулибиным, а я работал реставратором настенной живописи в монастырях Украины и был тем еще... тут трудно сказать.

В общем, мачта была изобретена и установлена. Дальше мы пошли в магазин «Тканыны» и долго выбирали подкладочный материал для штанов, пиджаков... ну то есть для паруса, и остановились на ярко желтом, чтобы в пути радовал. И еще купили метров десять квадратных клеенчатой скатерти, со сдержанно веселым узором – это чтобы сшить чехол для лодки, который бы стягивался под ней, как корсет, а мы бы сидели сухие в воде, во всяком случае, по грудь. Прострочили все это на «зингере» у меня на кухне, потом на каком-то военном складе достали тяжелые прорезиненные костюмы ОЗКа, распилили байдарочное весло на два и дорастили трубками от пылесоса, надули лодку посреди комнаты, поставили мачту и начали осваиваться, а на ночь ложились в нее спать.

Чесать языком мы с ним могли не смолкая сутками, но в то же время могли и сутками не замечать друг друга, то есть буквально, находясь в одной квартире, понятия не иметь о взаимном присутствии. Похоже, совместимость у нас была идеальная. Ждали лета. А пока доводили дизайн и пудами начитывали все, что находили по морскому делу. После испытаний на киевском водохранилище, где нас под утро на фарватере чуть не раздавила какая-то баржа, мы отправились на Черное море.

Подняв парусок в Коктебеле, нас шустро понесло в открытое. Разморенные от жары и переезда, мы задремали. Очнулись, когда в нескольких милях от нейтральных вод нас настиг пограничный катер. Выловили, привезли в часть. Допрос и досмотр явно свидетельствовал о незаурядном для пограничных будней улове. Тем более, что мы не только не отпирались от плана перехода границы, но и, войдя во вкус, всячески подыгрывали этой версии.

Ни документов, ни денег у нас не было. (А зачем? Мы давно уже научились обходиться в

походах без них.) Атлас автомобильный дорог СССР (правда, с захватом прилегающих заграничных территорий), военный бинокль, морской компас, не помню сейчас, что там было еще в наших рюкзаках, что так воодушевляло этих погранцов в их догадках. На корме лодки было написано «Папа», а ниже: «сиротский приют №9». Да, – кивали мы, склонив головы, – Стамбул, Дарданеллы, Гибралтар, Атлантика...

Наконец, нас вышвырнули, но – с двумя конвойными, которые должны были проследить, чтобы мы сели на автобус и уматывали восвояси. Сели. И, выйдя на первом же повороте, пробрались на Карадаг, по пути прихватив овцу из стада на выпасе, и спустились в любимую нашу Разбойничью бухту. Там мы пробыли месяц, лодка демонстрировала чудеса стойкости. Вернулись, предъявив липовые больничные. И в августе выехали в Бердянск.

Да, не океан, – Азов. А жаль. Потому что океан переплыть не сложнее, – всего лишь вопрос времени. А в этом стиральном корыте даже при небольшом шторме волны идут вразброд и едва ли не со всех сторон, не говоря об отмелях и «банках», и волна резкая, как забор. Океан в этом смысле – санаторное плаванье. Так мы думали, еще не представляя, какой «подарок» нас ожидает.

Вышли в ночь. Накачали лодку, надели ОЗКа, подхватили на руки нашего «Папу» и ухнули в пену. Был приличный прибрежный накат, лодку тут же всю залило. Отгребли, поставили парус. Ветер усилился, береговые огни исчезли. Темень, звезды, полулежим валетом, только «бюсты» в капюшонах торчат из лодки. Молчим. А о чем, собственно? Подремываем. Светает. Вдруг вижу: из предутреннего тумана растет нос сухогруза – громадный, до неба, и прямо над нами уже. Схватились за весла, а он уже стеной скользит мимо нас, и сверху, где-то там, чуть левее звезды, человек: «Помощь нужна?». И вниз в бинокль смотрит на нас с палубы. На нас – в бинокль! Хватаю наш бинокль и смотрю на него, запрокинув голову: «А вам?». И разошлись – как в море корабли.

Наступивший день был чудесен, расчехлили лодку, разделись, купались, сделали несколько снимков, отплыв на надувном матраце (том узеньком, советском, от которого наша лодка не сильно отличалась), перекусили (а взяли мы с собой килограмм сала и пятилитровую канистру воды, больше ничего, т.е. ничего лишнего). Собственно, эти несколько снимков были первыми и последними.

К середине дня небо начало затягивать, пошла волна. К вечеру уже все вокруг полыхало зарницами. Гребни наворачивались и рушились в лодку со всех сторон. Мачту с парусом, как игрушку, вырвало ветром и, подкинув в небо, отшвырнуло в сторону. Все последующие трое суток мы лишь успевали ловить воздух ртом и уходили вместе с лодкой под воду, и снова всплывали – успеть вдохнуть... Это только потом мы узнали, что под Евпаторией прошел какой-то дикий смерч – из тех, какие случаются раз в десятки лет, и, вильнув через перешеек, опрокинулся в Азов этой ураганной круговертью. Нас несло в западную, не судоходную часть моря, чудом пронося мимо «банок», где схлесты волн взвивались метров на десять ввысь – пеной, моросью. И под, и над нами все шло ходуном.

А тем временем, моему отцу в гостиничном номере Феодосии, куда он поехал в командировку, снится сон: мое хохочущее лицо, через которое с грохотом перекатываются волны. Проснувшись, он бежит в районную газету «Победа», по дороге коря себя за то, что поверил мне – мол, плаванье наше будет детским, вдоль берега. Газета связывается с Бердянском, Керчью, там поднимают на ноги всю округу: рыбаки, пограничники... Вертолеты начинают прочесывать акваторию. Безуспешно. (К этому времени нас отнесло далеко уже в западную часть моря, где почему-то нас не искали.) Единственным обнаруженным свидетельством оказалась запись в судовом журнале сухогруза «Днепр».

Зарницы все еще полосовали горизонт. Весь день в этом зловещем сумраке мы плыли на нашей качеле-лодочке – то под, то над водой. Перекидываясь веселыми репликами, когда замечали друг друга. К вечеру шторм стал понемногу стихать. Кажется, мы даже

поужинали и запили глотком воды, хотя пить уже не могло – куда? – как вода воду хлебала бы. Кожа наша, после того как мы здорово обгорели в первый день, а потом сутки проморили ее под водой, напоминала уже лохмотья. Всю ночь под лодкой пыхтел и терся о днище, подталкивая ее, дельфин.

Наутро, открыв глаза, я не увидел ни моря, ни друга, ни лодки. На голову был надет какой-то рябой мешок. Попробовал шевельнуться. Мешок нехотя подобрал крыло, покрывшее мое лицо, и взлетел. К тому времени мы, похоже, подавали уже небольшие признаки жизни.

Прислушался: откуда-то рядом доносилось тихое шипение, легонький свист. Там, где крепилась мачта, из крохотной дырочки сочился воздух. Которого и так в лодке было с гулькин нос (может, потому нас и не опрокидывало во время шторма, что она тогда уже была почти как тряпка, полоскавшаяся в воде). И вот теперь она выпускала последний дух. Времени, я прикинул, у нас оставалось около полчаса.

Это были веселые полчаса. Просто захлебывались от смеха: вспомнили тот совет Алена Бомбара в его книге, ставшей для нас настольной, «За бортом по своей воле», где он говорит, что единственный способ в подобных условиях заклеить дырку – сперма. Но достать теперь то, что когда-то было известно чем, то есть просто найти это жалкое и униженное, где-то там, в трюме комбинезона, не говоря уже восстать с ним – задача из страшных волшебных сказок.

Ждали, поглаживая лодку, поглядывая по сторонам, поддразнивая этот свист. Думали ли, что это конец? Да, но как-то дружелюбно, без надрыва. Да и, видно, слишком изурены были для подобных эмоций. И слишком молоды.

Ни через полчаса, ни через час лодка не затонула, что-то там произошло между воздухом и водой: после некоторых препирательств они как-то помирились мизинцами. Правда, над водой теперь возвышались только наши погрудные изображения. И в какой части моря и как далеко от берега мы находились у нас уже не было никакого представления. Нас тихо куда-то несло, подгоняя волной.

И вдруг мы его увидели – берег, совсем призрачный. Это, как оказалось, была Арабатская стрелка, ее южная сторона. То есть, выходит, мы все же его переплыли.

А когда подошли к берегу, уже почти к линии буйков какого-то санатория, до нас донесся голос, оравший в рупор: «Эй там, на матрасе, кому говорю, не заплывать за буйки!».

Вышли, легли в песок. Домой возвращались товарняками. А потом созвали друзей, приготовили гуся с яблоками, украсили стол портвейном, ждали, надеясь поведать свою одиссею. Напрасно. Гости наяривали гуся, запивая стаканами. Героем стал гусь.

Дача Чехова

Находится она, как известно, в Гурзуфе, под генуэзской скалой, в маленькой бухте у самого моря. Прикупил он ее к ялтинскому дому, не совсем понимая, зачем, за какие-то баснословные деньги, на которые его развели татары. Там он писал Трех сестер, сажал бамбук и умирал от тоски.

Теперь там музей, на зиму все экспонаты вместе с кроватью, в которую он не помещался, отправляют в Ялту. А летом, купив билет в музей, можно весь день проводить на диком чеховском пляже.

К тому времени (лет пятнадцать назад) было у меня две дочки. От двух замужних мам. О существовании первой дочки я узнал лишь пять лет спустя. О второй знал, но немного сомневался, что она моя. С обеими – и мамами, и дочками – отношения были ладными. Семье старшей, жившей в Москве, я отдавал свою гурзуфскую квартиру на лето, а с младшей время от времени встречался в Крыму, они были из Севастополя.

В тот год старшей было, кажется, 10, младшей – 5. Обе не знали, что я их отец. И вообще, кто и что знал и не знал в этом пятиугольнике – ни я уже не мог ответить, ни кто-либо из его сторон.

Однажды летом я приехал на несколько дней в Гурзуф, там в это время гостила старшая с мамой. А мама младшей позвонила, сказав, что подъедет на полдня – повидаться. И пошли мы, чтобы не пересекаться, в эту укромную чеховскую бухту.

В тот день штормило, и с каждым часом шторм усиливался, заливая бухту. И вот сидим мы втроем на последней сухой пяди и разговариваем. У нее, у младшей, в этот день все вертелось вокруг слова «кажется». Это тебе только кажется, говорила она, что это волны, и они заливают нас. А мама, спрашиваю, а ты, а я – есть? Нет, повторяла она, это тебе только кажется, что мама, что я, ты – есть.

И тут вижу: волны гонят в бухту водный велосипед, на котором старшая с мамой, у них сломался руль, машут мне. Причалили, выбрались, стоим на этом клочке суши, все пятеро, на одной ноге, прижавшись друг другу, окатываемые брызгами. И кто кому кто – бог весть, у каждого свой Чехов. Или это только кажется...

На полях

Восприятие Западом восточной практики жизни в настоящем времени (здесь и сейчас) сильно перекошено в буквальную сторону. Вне контекста прошлого и будущего ничто полноценно не работает. Кто такая мать, например? Палка-палка, огуречик? Просто речь идет о практике исправления некоторых перекосов – как позвоночника в привычно отсиженных позах – в нашей порою чрезмерной фиксации на прошлом или будущем.

85

Мамочка моя чудесная, Майя, 85 ей сегодня. Просилась в Индию ко мне в этом году, ждала, коротала ночи, перечитывая Даррелла и Набокова. Сходили сейчас к китайцам, направили всё, что было в Поднебесной, запивая коньячком из фляжки. Живи, мое счастье, живи долго, живи изо всех своих светлых сил, и знай, что пока ты есть – я бессмертен.

Октябрь

Вспомнил, как где-то в 80-х снимал комнату в Москве. Надо было перекантоваться несколько недель. Пришел по объявлению. Хозяину под 50, зовут Октябрь. Двушка на Юго-Западной. За копейки. Не успел оглядеться, спешил. Вернулся ночью, проскользнул в темноте в свою дальнюю, лег, уснул. Просыпаюсь от тихого вкрадчивого голоса: "Сука, порешу..." Приближается, но на полпути замирает и движется к окну. "На правый борт, на правый, говорю, закладывай, сука!" – напевно так, в трусах до колен, майке и руки подняты, что-то держит в них. Свет лунный меж занавесок. Пригляделся: ба! – с топором идет. И не идет, а как-то плывет пританцовывая. И – переходя вдруг на высокий (у царских врат): "Детей в шлюпки, детей в шлюпоююпки!" И уплывает в свою комнату. И тишь.

Наутро он, конечно, ничего не помнил. К полудню со всего района к нему начали стекаться кореша. На кухне самогонный аппарат. К концу этих недель примерно такой дневной и ночной жизни, мы обнялись и расстались. Я оставил ему свои сапоги, поскольку в носках на улицу он выходить не решался.

Улитка

Вчера происходило странное. Улитка взобралась на стол на веранде, куда вползти просто невозможно – поверьте на слово, чтоб долго не объяснять (стол на одной ноге, покрыт эфемерной скатертью со свисающими краями). Мало того, что взошла, так еще и оказалась на краю пепельницы, вытянувшись лицом к самому пеплу и исполняя над ним

какой-то танец. Когда я приблизился к ней с камерой (расстояние – 10 см.), она обернулась, глядя на меня и продолжая раскачиваться в воздухе. Я перенес ее на траву, она свернулась там в безжизненную нашлапку... такой климтовский куполок тусклого золота, без креста. И всё. Казалось бы, ну улитка, их тьмы тут. А весь вечер и сегодня тоже – как-то муторно на душе, что-то она хотела... а я не понял, сделал что-то не то, не так. А главное – вот это – не услышал, не понял, вошел в жизнь, в событие "через голову" происходящего, с самонадеянной чуткостью. Которая вроде бы прежде не подводила. Черта с два. Вся жизнь искалечена этой самонадеянной чуткостью.

Про Ерему (семь тысяч лет)

Москва, январь 2005-го, захожу в гастроном, иду вдоль рыбного прилавка, остановился в задумчивости, о Введенском думаю. А продавщица мне: "Возьмите ангела". – "Что?" – "Ангела, – говорит. – Морского ангела. Легкой заморозки". Взял я ангела, домой иду, думаю, разморозить его не успею до Речевых ландшафтов, в семь они.

Захожу в кафе. Смотрю меню. "Египетские блюда". Так и написано: "египетские". Под номером 3: "Семь тысяч лет". Это название. "Что это?" – спрашиваю. – "Закуска такая, горячая". – "Какая – такая?" – "На хлеб, – говорит, – мазать". Намазал я семь тысяч лет на хлеб и съел.

Прихожу домой с полным кульком ангелов, телефон звонит: Саша Еременко.

– Серега, – говорит, – можешь приехать? Нужен бинт и портвейн три семерки. Кортик, – говорит, – у меня в животе. Кровь – есть. А портвейна нет. И болванку возьми. Перепишу Введенского тебе. Умрешь. Знаешь, как он читает? Голос – в пиджаке и с галстуком. Как Заболоцкий.

Купил бинт, портвейн, еду на Патриаршие. Бред, думаю, не может этого быть, и еду.

– Портвейн, – говорит Еременко, – потом Введенский, – и зубами бинт рвет. А пробка в бутылке немислимая какая-то, уже и сковородкой по напильнику, всунутому в ее горло лупим, пробка раскрошена, брызги в лицо при каждом ударе, а все никак... Ставь, говорю, Введенского. И тут голос – филармонически-ангельский:

Так сочинилась мной элегия
о том, как ехал на телеге я.

– Так это же голос Ровнера, говорю, Аркадия.

– Какого такого ровнера? – протолкнув, наконец, пробку, подымает голову Еременко. Да, думаю, глядя на него: семь тысяч лет, семь тысяч.

Марина

Нет, еще не пора. Не к концу сентября, когда местность, как после соитья лежит разметавшись во все края и всё в ней чуть под углом друг к другу — море к берегу, небо к поселку, горы к горам, чуть отвернувшись, с тем же чутким зазором вины и родства. С тем же взглядом, косящим чуть в сторону, — как по холодному полу идешь босиком, поджимая пальцы, чуть в сторону, как после близости. И повсюду этот стыдливый зазор с пустотой неумелой — меж землею и небом, дорогой и домом, водой и губами. Эта тяга родства и обратная тяга — к его отторженью. Только спайки тоски с этой ноющей сладковатой виной.

Это потом только он стал различать: худенькая, размашисто легкие ноги, танцующий ветерок меж ними, родное, с утренним щебетом и волновым восходящим светом тело ее, и лицо — весеннее, к небу поднятое, и веселые волосы чуть набекрень, из-под челки — две голубые тайны, одна чуть блажит в прищуре. Это потом — губы с чуть приподнятыми

уголками детства, теплые нежные, почти как воздух, когда его осторожно пьешь... Маленький, свернувшийся калачиком, заснеженный городок. Он подходит к ее дому, она смотрит на него из окна и не видит — во тьму со света. Входит, берет ее на руки, улица безжизненна, только одна вывеска мигает, заметаемая снегом: З...ГС. И он опускает ее на землю лишь после того, как выносит ее на руках из этого ЗГС, и она все никак не может собрать свои губы в это щекотное слово: жена, жжжена, а он дышит в ее вздрагивающую шею за меховым воротником: мууж, муужжж... Пока заживают зазоры, оставляя рубцы между людьми, словами. Пока догорает вина, помнящая о родстве. Пока остывает земля, уже протравленная к утру проступившим инеем. Не сразу, но к ноябрю.

Центрифуга

Есть события в жизни, которые однажды случившись уже никогда не кончатся. И тебя развихривает эта бесшумная центрифуга внутренних колец ада и вышвыривает за свои пределы, и снова втягивает, не проронив ни звука. И всё это происходит как бы не в тебе, а в белесой стороне — той, где ничто не кончается.

Чёс

Проснулся я в своем крымском наполпутидомике над морем от неизъяснимой песни под окном. Пел ее Чёс — последний барбос на земле, он же — Кузя и Рыжий Кадмон. Нет такого запаса воздуха, чтобы так долго длить эту фонетическую одиссею на одном выдохе (или вдохе — как волки?). Он ветвил и лелеял, и мучил ее, эту немисливо высокую (девочка пела в церковном хоре...) ноту, нисходящую к сердцу и вновь набирающую высоту. Песнь его замерла, казалось, лишь когда, изогнувшись над морем, коснулась Константинополя.

Я вышел. Он уже лежал, положив голову на лапу, глядя вдаль, поверх поселка. Вчера он совершенно отчетливо произнес: мама! И чтобы у меня не оставалось сомнений, повторил еще дважды. Лола? — переспросил я его, имея в виду ту великую суку, обвешанную всеми псами округи, она отбивалась от них, заняв позицию в гроте, здесь, за спиной этого наполпутидомика, пока один не прыгнул с пятиметровой скалы вниз, в сквозную дыру в своде этого грота, так были зачаты двое — Чёс и Нечёс.

Маааама, повторил он, и завалился на спину, обхватив лапами голову.

Это вчера. А сегодня, вернувшись в домик, я увидел в умывальнике сверчка, что-то неладное с ним творилось — видно, он хотел покончить с собой — после той песни за окном, по профнепригодности. Вынес его, полуобморочного, в сад. Сварил кофе, смотрел на море — тихоня. И горы стоят, как ни в чем. Поселок чуден — ни одной людской помехи, один я. И два кота — лежат свастикой, греются.

Вернулся. Посмотрел на ютубе 20-минутную речь Саши Скидана о книге Аркадия Драгомощенко «Исключение неизвестного». Рад очень — обоим. Такая редкость по нынешним временам — не мандельштамовых разговоров о Данте.

Пойду Гешу будить — завтракать. А потом пойдем с Чёсом прогуляться по Пушкинским местам. Или Чеховским.

Программа

За последние полвека уничтожено 55% животного мира Земли.

Не пора ли ввести Всемирное Чрезвычайное Положение?

Но совсем не то, что вы думаете. Никакой "защиты природы" и пр. — на этом пути бед от людей едва ли не больше, чем добра.

Нет, чрезвычайное, то есть с (по возможности) полным освобождением от людей

оставшихся природных территорий, с мораторием на вторжение – лет на 100. Да, вот с такой жертвой и повинностью. Жесткая, планетарная программа с исполнением в ближайшие 10 лет, большего времени у нас нет. И хватит уже циклиться на себе любимых и богоизбранных.

Соснора

Лет семь назад приехал к нему, думая записать разговор о том, о сем, преимущественно о творчестве, о литературе... И вот мы в его крохотной однушке на выселках Питера уже третий час, я пишу ему вопросы на бумаге, а он – небесный всадник – сидит на кушетке, прижав колени к груди – маленькие белые ладони ребенка-гения – и говорит о своем детстве, глядя в окно, и мы прерываемся на перекур (ему нельзя), запираясь в тесной хрущевской ванной и возвращаемся, и он продолжает рассказывать о детстве, о детстве и только о нем, и голос его, себя не слышащий, доносится будто из ассирийских далей, хотя и звучит рядом.

Люба

Божечки-боже, неужели 30 лет прошло? Вчера показывали фильм о Чернобыле по Культуре. Не совсем на том пути фильм, но не в этом дело. Там лейтмотивом на экране появлялся человек лет сорока, в камуфляже, бродил по пустынной зоне, по руинам Припяти, перебирал брошенные остатки жизни в ДК Энергетик, говорил о маме – очень красивой женщине, ставшей в свои 35 инвалидом, живущей в Киеве, с тех пор почти не выходя из дому...

Той самой, что так любила меня тогда. Приезжала в Киев ко мне. С этим мальчиком. И без. И имя у нее было – кто б мог подумать тогда, что до такой степени – Любовь Сирота. Работала она в этом ДК художественным руководителем, ставила спектакли, по Цветаевой, например. Я помню, как горячо она обсуждала это со мной. А я смотрел на ее волосы и думал: когда волнуется желтеющая нива...

Что я помню? Почти ничего. Кажется, о шумерах я помню больше и вижу ясней, и, главное, более цельно, чем свою жизнь. Даже не руины, а какие-то разрозненные полуфразы, которые уже никогда не сложить.

Я приезжал в Припять. Выступал там, немножко жил, дружил. Может быть, был последним из приезжих, кто ходил по тому самому четвертому блоку незадолго до взрыва, и еще, кажется, пошутил, глядя на эти приутопленные стержни в полу: а что если рванет, и полетят они журавлиным клином над полями-лесами...

А потом, когда рвануло, мы возвращались с поэтом Ильей Кутиком на попутках из Питера, куда поехали с ним и Алешей Парщиковым на вручение Белого, кажется... И как раз, миновав станцию Дно, мы с Ильей приблизились к Гомелю с заволоченным небом, заночевали в кювете, в лесопосадке, просто притрусив себя сверху валежником, умывались в озере – как раз на следующий день после аварии, когда всё это волокло ветром на Гомель.

А потом, в Киеве, уже наполненном беженцами, я отдал свою квартиру двум Любам – Сироте и еще одной... Как же ее звали и где она теперь, жива ли? А сам перебрался в Глеваху – опустевший поселок в пригороде, где писал Станцию Дно и ходил в высоких сапогах и плащ-палатке по полю, глядя на ворон, промахивающихся мимо своих очертаний.

А потом в Германию пригласили чернобыльских детей на отдых и лечение, первую группу, и родители очень волновались их отдавать незнакомым сопровождающим, и попросили меня поехать с этой группой. А приглашение было от очень богатого Ротари-клуба из предгорья Альп, не миллионеров даже, реявших над деревьями на своих самолетах и очень старавшихся искренне перещеголять друг друга в опеке детей и

подарках им. С явным перебором, и мне приходилось как-то настраивать баланс между ними.

Эти милые магнаты и меня хотели всячески облагодетельствовать, за пару минут, так сказать, решить судьбу, но я сказал, что я тут никакой не писатель, а с детьми, и вообще мне ничего на свете не нужно, всё есть, так оно и было. Вернулись, поездка для детей оказалась на удивление светлой и полезной. А я вытряхивал отовсюду эти ворохи визиток банкиров, министров и др.

А потом, это было уже начало 90-х, меня попросили поехать с первой группой, отправляемой в Штаты, где было уже более ста детей. В выданный мне мидовский паспорт вклеили около 20 детских фотографий – на каждой странице по ребенку, дали как руководителю 20 долларов на месяц, построили сто с лишним детей и отправили. В никуда.

И вот это уже никак не расскажешь. Похоже на безудержный триллер, который память держит в каких-то темных погребках и давно замела туда дорогу.

Приглашающей стороной оказалась Церковь Четвероевангелия из штата Орегон. Эти жулики во главе с нашим бывшим выходцем отыграли какую-то рекламную кампанию по этому публичному жесту и уже умыли руки перед нашим приездом. В Нью-Йорке, где нас должны были встретить и посадить на самолет до Портланда, никто не встречал – ни людей, ни билетов, ни денег, ничего, ночь. И это были только цветочки. Потом, когда мы добрались, детей вмиг разобрали по машинам какие-то посыльные и увезли во тьму. Меня тоже.

Я оказался далеко за городом, в детской камерке, один, с фосфоресцирующим потолком в виде звездного неба и многодетной семьей, которой меня сбагрили. Наутро я добрался до города, нашел этого главаря "евангелиста" и на вопрос о детях, получил ответ – не соваться не в свое дело, пока цел. Пошел в ближайшую газету. И тут все началось уже по-настоящему.

Месяц я, то есть эта все более накалявшаяся история, не сходила с первой полосы, наряду с войной в Бенгальском заливе и Бушем. Меня выкрадывали, бросали на безлюдном океане, я добирался оттуда на частном самолете, прилетевшем за мной из Канады и нашедшем меня по костру на берегу, потом мы кружили над городом и я давал интервью ТВ, а камеры отслеживали нас, кружащих. Потом приезжали какие-то переговорщики из Конгресса, сулили туманно многое. Потом я находил поутру надписи на доме, в котором жил: остановись, плохо кончишь. К тому времени меня уже узнавали на улицах, окружали, совали визитки, вообще "простые американцы" были горячо на моей стороне, следя за событиями, предлагая всяческую помощь. Я давно уже переселился к одному дядьке – владельцу автоколонны, которая, как он сказал "если что – в твоём распоряжении". Звонили с атомной станции – предложили бесплатное обследование детей у них, автобусный парк дал бесплатно автобусы, детям сделали это дорогущее обследование, и вообще – уйма всего успелось, не говоря о веренице моих выступлений – в университетах, колледжах и различных организациях – о Чернобыле, с объявленным сбором средств, собраны были несколько миллионов долларов, отправлен корабль в Питер с мед.оборудованием и медикаментами... Вот пишу сейчас, и трудно поверить во все это...

А возвращались мы на тяжелом бомбардировщике с военного аэродрома, откуда позвонили после очередного моего интервью в газете и предложили решить эту проблему нашего перелета в Нью-Йорк. Я помню, как подсаживал детей в этот люк на брюхе бомбардировщика и руки американских десантников, подхватывающих их из тьмы этого люка... В аэропорту Кеннеди выделили и оцепили посадочную полосу для нас.

Что я помню? Память выселена, как та чернобыльская зона, кто-то там бродит еще, живет... Ничего не понять, не успеть, не совладать, не собрать... И как это все соотносится с вот этой, например, моей Индией, со вчерашним же приглашением в рай... Как это и где

живет в одном человеке?

Здравствуй, Люба... Любушка Сирота. У тебя вырос хороший настоящий сын.

Вопрос

Есть вопрос, на который вроде бы есть совершенно очевидный ответ. При этом факты ему противоречат. Понятно, что природа не просто первична по отношению к культуре, можно думать и говорить что угодно, но без дыхания речь не получится. Реальный опыт связи с миром первородных вещей – у единиц, большинство, в том числе, большинство крупнейших писателей и поэтов, похоже, довольно далеки от такого опыта. Который не книжное знание, не генетическая память, а личный – не из вторых, третьих рук – проживаемый опыт, знание кожей, родство зверя с джунглями. И никакой гений не способен покрыть это зияние, поскольку здесь затронута не периферия, а основа живой ткани, сердце жизни, способ ее существования. Когда тигрица выходит на охоту, вся пластика ее движений, интонация "хода", вся партитура ее чувств опирается на это "знание". Любая ошибка, неожиданный хруст ветки под лапой, ломает карту дня, охоты, жизни. Ровно такой же "ход" лежит в основе движения любой строки, связи слов, повадки развертывания. Да, понятно, с поправкой на особую местность, среду – культуру, искусство, в данном случае – текст. Но в основе – те же универсальные законы живой материи. И видно – сразу, с первых же шагов, строк – как ломается эта "ветка" у 99 из 100 лучших из пишущих. И всё, дальше читать невозможно, "охота" сломана, уже никого нет. (Кому это видно? Тоже вопрос. С точки зрения обитателей вольера, поведение каждой особи выглядит вполне аутентичным, и чем дальше – тем меньше вызывает вопросов). Не случайно Бродский, дав крайне высокую оценку Парщикову, замечает (с его точки зрения) нехватку просодии, мол, "виденье", его способ превращений в тексте настолько феноменален, что порой это происходит в ущерб просодии. Именно. Вольерной просодии. Потому что правда музыки, та, что диктует "ход", находится не там, не в "литературе", а в той "тигрице", на свободе. И смысл текста – всегда следствие этой суммы перемещений, поведенческой пластики, опыта "свободного зверя" в лесу. Смысл вторичен, но зачастую читатель, а нередко и пишущий – с него начинают. Но вернемся к началу. Вот, скажем, Гумилев, Волошин, не говоря о Хемингуэе – вроде бы авторы не лишённые опыта связи с первородными вещами. А с другой стороны – Блок, Мандельштам, не говоря уж о Кафке, вмурованном в картонный домик.

Не сходится. Нет ответа.

И конечно (или надеюсь), никакой воды я на свою мельницу не лью в этом вопросе. К себе у меня претензий и так хватает, в том числе и на этом поле. Но сам по себе вопрос интересен. И вообще, скажу крамольное и детское. Вот смотрю я на человека, как он делает несколько шагов, например, за чашкой, берет, ставит на стол. И всё. Всё понятно. У одного вся вселенная при этом тихо и незаметно валится, а у другого – так же незримо – поёт. И то, что оба, допустим, люди пишущие, и письмо второго нередко вызывает разочарование – не удивляет, а вот то, что первый нередко оказывается у вершин письма – да, необъяснимо.

Олеся

В ту пору я был немного женат. Она была из Рязани, приехала в Киев к подруге на несколько дней. Подруга нас и познакомила. Дальше началось неизъяснимое. Кажется, мы не произнесли с ней ни слова, просто вдруг совместились и стали одним – мучительно безымянным, бесчеловечно родным. Близость – безотчетная, нежнейшая, кромешная – началась уже в такси и длилась пятнадцать часов кряду, в какой-то квартире, на полу, застеленном узорчатым ковром, и мы плыли по этому коврику из угла в угол, лежа, так, что к утру вся кожа на спине у нее и у меня на локтях и коленях была содрана, но мы этого не

чувствовали, встали и, пошатываясь, расстались.

Она поехала в Рязань, а я пошел в Оперный театр, куда устроился сторожем на время его реставрации. Влез на купол, лег там, как на палубу корабля в шторм, и смотрел на качающийся на волнах город. И прижимался животом к этому куполу, под которым стояла сумрачная бездна с воткнутым в нее осиновым колом солнечного луча и плывущими вокруг него мусоргскими лебедями.

Вскоре я поехал к ней, была зима, я нашел ее окошко, и мне показалось, что я вижу ее за морозным узором на стекле, что она смотрит в эту мглу за окном, в эту тихую безлюдь – день за днем, тысячелетья. Вошел, взял ее на руки и вышел во тьму, где единственным огоньком – на той стороне улицы – была мигающая надпись: «З...ГС», и вернул ее на землю только когда ошалевшая директирисса нас расписала. Потом тормознул какой-то случайный пустой автобус, и всю ночь мы танцевали в проходе между сиденьями, а водитель медленно кружил по городу сквозь снегопад.

Так мы жили потом много лет, встречаясь и расставаясь, не как муж и жена, а как праздник свободы и авантюры родства, чем и была эта роспись.

Да, я ведь не о ней собирался сейчас говорить, а об Олеся, заговорился. Олеся возникла не помню как. Кажется, на одном из перформансов моей «Игры в дым», и осталась у меня на какие-то дни. Образ ее, помнится, был сродни лесной мавке, но тепло-прозрачный, сентябрьский. И еще осталась память об абсолютной гармонии с ее лоном, такой естественной, простой и чудесной, каких, кажется, не бывает. Что же тебе мешает, – сказала она, листая у окна мой паспорт, – вот этот штамп? – и с дивной медленной улыбкой отрывает страницу и опускает ее за окно. И я вижу, как этот листик летит, кружась...

Страничку я вклеил, Олеся исчезла, с женой мы развелись, но много лет и листьев спустя.

Близнец

Не живем ли мы с незримым близнецом внутри нас?

Я имею в виду, способны ли мы различать то, что не имеет отличий от нашего ощущения (недискурсивного "знания"? – сложный момент) себя?

В отличие от "других" в себе, которых различаем и выстраиваем отношения.

И не являются эти "другие" посредниками между нами и этим "близнецом" в слепом пятне?

Ковчег

Речь пойдет о «Ковчеге» – лит.-худ. изделии, которое я придумал и выпускал в середине 90-х в Киеве. Но, похоже, я несколько тороплюсь с этим постом. Поскольку внятно ни показать, ни рассказать об этом не могу. По нескольким причинам. Во-первых, это само по себе непросто. Во-вторых, мой сканер А-4 формата, а Ковчег – вдвое больше, а если смотреть страничными разворотами (а только так и нужно, поскольку это у него минимальная единица восприятия (и графического, и семантического), как такт в музыке, то я здесь могу показать лишь бессвязные четвертушки страниц, скорей похожие на запчасти. Ну да бог с ним. Может, Варел, который был ошую этого дела, подсобит, скажет что-то более внятное. А пока – небольшая зарисовка, когда-то написанная о «Ковчеге». Да, вот еще. Первый тираж этого «прекрасного безумия» (которое поначалу еще называлось «негазета») был 1 млн. экз. По штуке в каждый почтовый ящик города. Кроме того, мы хотели еще нанять кукурузник и посыпать город остатком. Потом, перейдя на «изделие», мы стали более сдержаны, – его можно было выписать по подписке Сюзпечати. Мы – это я. И спонсор. Потом подключился – Саша Чернов, потом Варел Лозовой и Дзын. Выходил Ковчег с 1994 по 97. В каждом номере 16 страниц А3 формата.

В альбоме – фрагменты страниц лишь из нескольких выпусков Ковчега (полного комплекта нет и у меня, – библиографическая редкость)

Киев, середина 90-х, ночь. Институт археологии, актовый зал, в дальнем углу – верещагинская горка черепов с цифрами на лбах и метками на затылках. В другом углу – вязанки костей. Между ними – допотопный ксерокс, из-под крышки которого торчит веник. У стены – длинный «президиумный» стол с бурлящими колбами, книгами, порошками, суспензиями и пр. алхимической ересью. Пол застелен бумагой А-3 формата с наклеенными поверх, встык и внахлест фрагментами текста и графики. Между указательным и большим пальцем он держит букву. Или не букву – какой-то смысловой завиток. Вглядывается в лежащий на полу разворот страниц, там два с половиной тысячелетия, девять языков, 12 государств, 29 авторов. У каждого – своя среда. Семь каллиграфов работают над образами отобранных текстов. В углу стоят рулоны каллиграфии. Около тридцати метров, написанных от руки. Это было бы страниц десять на компьютере, от которого он отказался, используя его лишь для подсобных работ, нетворческих. Внутреннее развитие некоторых текстов требует смены характера записи, а порой и материала. Тушь, сухая игла, утюг через копирку, сапожный клей по факс-бумаге, растворы, затирки, вода, огонь, термические хитрости. Но перед тем – работа с бумагой, то есть миром, куда войдут, обживая его, персонажи. Потому что страница – не подстилка для текста. Значит, прежде нужно создать, найти свойственный именно этому тексту ландшафт, климат, визуальную акустику восприятия. Например, к этому выпуску собран архив узлов и разрывов, отпечатков волос, веревочных лабиринтов, линий ладоней, радужных оболочек, клейких путей улиток, нитяных мотлохов, увеличенной на ксероксе жизни ткани. Речь о дискретности, о белом письме, о слепых пятнах теста, о синкопах синтаксиса, о семантических задержках дыхания, о пранаяме слова, о нитевидном времени, этимологически восходящем к веретену. 29 авторов, из разных времен и углов света, будут неявно, исподволь говорить об этом, и тексты их будут перетекать друг в друга, не смешиваясь, но и не отгораживаясь от симультанных отсветов. Незримые голосники, вмурованные в бумагу, суггестивные переходы смыслов – от влажных к сухим, от света к тени, от двора к дворику, как в каирских кварталах. Чье-то белье на веревке, граффити на камне, голоса с улицы... Тексты, графемы – и крупные и крохотные, величиной с детский ноготь, наклеиваются на страницу, которая о временем превращается в многоярусный палимпсест. Наконец, он клеивает и эту, последнюю, буквицу-небылицу, похоже, там, где ее никто и не увидит. Но без этого, почти недоступного зрению, визуального обертона, как мнится ему, не придут в движение все елки на свете, все золотые шары... А в жизни разве иначе? Линейно, последовательно? Это потом Ламарк приходит, лесенкой обувь выстраивает. А вот безвестный Караманов, композитор, с которым Шнитке учился, считая его гением, а себя головой пониже, живет (умер недавно, – С.С.) в симферопольском пародонтозом дворику и пишет симфонии, для исполнения которых необходимы девять больших играющих одновременно оркестров. Кто слышит его музыку – ангелы? Рыбы? И кому нужны эти нотные лестницы Иакова? Нужны, значит. Недешево я беру, сказала ведьма русалочке. Может, пришла пора схимы культуры, нового средневековья? Куда пришла? К кому? Здесь не живут такие, съехали. Снег сыпет в окна. У входной двери – привратник, спит, опустив голову на стол. Все, что осталось от института археологии – бесхозная горка черепов из прошлогоднего раскопа. Тусклый мигающий флуоресцентный свет. В дальнем конце зала, в полутемном углу сидит фигура с неясными чертами лица. Сидит на корточках, молча наблюдая за ним уже не один час. Теперь, когда за окнами уже светает, фигура встает, подходит, протягивает руку. «Сергей», – говорю, пожимая. «Как назовешь», – отвечает. Странное лицо. Между инком и иноком. Чуть женственное? Да, быть может. Но как бы сквозь опиумную дымку. Креол? Перуанец, сошедший с гор? Легкая, пружинистая походка, чуть раскачиваясь, будто нога еще помнит тропу. Длинные черные волосы, убранные назад, за спину.

Быстрые, точные движения, оттого кажутся как бы замедленными. Одежда, шитая, видимо, им самим, сумчатая, лоскутная, как легкий пешеходный домик с флигелями и тайниками. Ждет с улыбкой. Не лицо, а книга перемен. «Дзын», – говорю. – И. Дзын». – «Хорошо, пусть будет Игорь Дзын». Так стало нас двое.

А потом, что ли месяц спустя, возник Варел, и мир потек через край, четвертому в нем уже не было места. Пришел он, как и Дзын, ниоткуда, на свет в окне. Длиннополый холщевый хитон, на боку – меч, за спиной – барабан. Китайский монах, воин, сновидец. Один глаз – вперед вперед, другой – чуть закатившийся вверх, к небу. Тот, что к небу, кажется, лет на пять старше. «Да, – говроит, глядя на ковчежные листы, рассыпанные на полу, – похоже на лесбийскую свадьбу вавилонской башни с башней слоновой кости». Чуть запрокинутая голова и этот легкий посвист на вдохе – будто выуживает из воздуха эти, еще не легшие на язык, слова. Он ходил по утрам на Лукьяновский рынок, бил в барабан, дул во флейту, брал овощами, клал их в ту же котомку, где лежал томик Хлебникова и Сквороды. Возвращался в отгороженную коморку, писал картины а ля таможенник Руссо. По сравнению с его речевым запасом, ящик Пандоры казался паинькой минимализма. Но на волю слов он отдавался не с каждым. Напротив, производил впечатление молчаливого, чуть юродствующего в своей косноязычной замкнутости человека. За отсутствием равного собеседника его кромешные речевые игрища проходили наедине с собой. Его скорость ассоциаций в деле напоминала разгар сабельного боя. При том, что там, в гуще, в мельтешении сабель, его никогда не было. По весне он шел сквозь город по реке, прыгая с льдины на льдину, с самурайским мечом на боку. А потом, в небе, на вершине ржавеющего лыжного трамплина, покрывал возлюбленную подснежниками, приговаривая: «Не все на свете так умопостижимо, не все...».

Дзын рос в Алжире. Вслушивался в рост растений. Долго. Как обычно не происходит у большинства из нас. По слогам читал воздух, свет, воду. Учился каллиграфии внимания, учился чтению – медленно, как минерал. Присматривался к ремеслам. Руки жили чуть впереди, с делом. А тело жило с собой, как брат с сестрой. А голова была к небу развернута, которое не всегда вверху. Письмена читала, травку покуривала, со звездами говорила. А ноги выхаживали бездомье. Варел тем временем осваивал духовные практики Китая, родил трех сыновей от разных стихий, издал тезаурус своих сочинений, продолжал занятия живописью и архитектурой, ездил на семинары по работе с тонкими энергиями, перемещал облака. Дзын двигался в сторону Киева, приращивая территории ручного ремесла и обиходной магии, на ходу перерастая персонажей Коэльо.

Радость, ни с чем не сравнимая – от этого дара встречи, когда трое стали одним в этой ковчежной лодке.

Вход, выход

Подумал, что всю жизнь – с детства – был счастлив. И в отчаянье тоже. Хотя бы тем, что всегда и только – делал лишь то, что хотел и любил. Что никогда не был зависим ни от чего. Что всю жизнь шел один. И жил там, где хотел, но и не придавая этому особого значения, понимая, что все эти "там" – будь то Россия, Индия, Украина, Америка или Европа – не более чем психоландшафты (до тех пор, пока не отстреливают). А здесь – лишь язык и небо. И за все это счастье расплачиваешься соответственно.

Как мы с Лёней Федоровым не поехали в Индию и не сняли фильм

Пару лет назад возникла такая мысль и Леня был готов ехать, нужно было лишь немного денег на дорожные расходы плюс монтаж. Денежки вроде брезжили в Киеве, нужна была заявка, в общем-то не обязательная к исполнению, фильм, а особенно в Индии и с такими персонажами по бумажке не делается и не собирался. Бумажку я написал, но дело с ответом затянулось, а потом был Майдан.

В заявке предполагался арт-хаусный роуд-муви. Я там брожу по джунглям, беседую с животными, Лёня сидит у костров с индусами, играет с ними, поет... А третий персонаж – девочка из неприкасаемых, шиваитка, просящая подаяние. Происходящее показывается то глазами девочки, то моими, то Лёниными, линии пересекаются, заплетаясь в узор, девочка уходит в Гималаи, танцуя там перед Шивой, мы с Леной сидим в финале по обе стороны от ее ведерка для подаяний, куда падает дождь. Ну это "рыба" такая была – получить денежку и выбросить.

Ссылка

Сегодня ночью Данте Алигьери дал ссылку на свой развернутый текст о моей книге "Ее имена". Ссылку не виртуальную, а буквальную, по которой надо идти дорогами и тропами... Никогда мне не снился ни Данте, ни книги мои, настолько странно, что я, перевернувшись, отвлекся на другой сон.

«Третий путь»

Я попробую сказать об одном из самых сильных, неизъяснимых, интимных переживаний в моей жизни. Не думаю, что я слажу с этим, тем более, в двух словах, и буду при этом хоть сколько-то правильно понят. Но рискнем.

Середина 2000-х, зима, гуляем с моей 19-летней дочерью по Замоскворечью. (Здесь небольшое отступление. Был у меня когда-то милый короткий роман в Киеве. А семь лет спустя – звонок в дверь: она, с шестилетней девочкой, до одури похожей на меня. Она с мужем теперь в Москве, а девочка – в Киеве, с бабушкой. Мы подружились, очень, хотя до своих 12-и она не знала о том, что я ее отец. Пока однажды в Гурзуфе мы с ней не укатили на водном велосипеде далеко от берега, и она там все выпрашивала лукаво: а что это мы так похожи с тобой? И здесь, и вот здесь... и любим с тобой одно... И так далее, пока прямо не спросила о главном. И от счастья свалилась за борт, и там, уже оба мы – тонули и всплывали с этой безудержной радостью, и лупили ладонями по воде. Ну много всего было потом – и походы, и пещерные города, и тьмы разговоров и приключений... Затем она переехала в Москву, поступила в универ на лингвистику, встречались мы реже.)

Да, так вот идем мы по Замоскворечью, подмерзли немного, поздний вечер, зашли в клуб «Третий путь» (полуквартирник такой был, не знаю, есть ли сейчас), музыка, много народу, сидим у барной стойки, разговариваем, попиваем что-то коктейльное – одно, другое, и как-то так хорошо на душе, и хмель такой неявный, но кажется, и ему, хмелю, так хорошо с нами – сидеть, разговаривать, улыбаясь, чуть покачиваясь в такт музыке. Я отлучусь на минуту, – говорю ей. Иду в туалет, выхожу, а там, на выходе, тамбурок такой полутемный – между баром и танцевальным залом, где какой-то блюз звучит, тени топчутся и световые мурашки по стенам и потолку плывут. Но всего этого я уже не вижу. Потому что давно стою, обняв женщину, обнявшую меня. Я столкнулся с ней прямо на выходе, в темноте, так, что и лица не увидел. И как это произошло, я не знаю. Просто была одна жизнь, и кончилась, я вывалился из нее, из времени, из всего, что было со мной связано. То есть не со мной, потому что только сейчас я нашел ее – эту женщину, такую родную, такую мою, что если б я мог заплакать, они б, эти слезы, текли ручьями – от счастья, от нечеловеческого счастья этой встречи, этого дара, которым, наверно, нельзя так людей испытывать. С такой сметающей всего человека силой нельзя. И вот мы стоим в темноте, прижавшись друг другу, еле касаясь губами, ресницами – так, что лица я ее не вижу, но и видеть не нужно, – может быть, и прикрыты они у меня, глаза. Потому что все уже произошло, она здесь, со мной, мы одно, единое, и это уже навсегда. Разве спрашивают имя у навсегда, разве заглядывают в лицо единому? Да, быть может, но не сейчас, потому что в этот миг – чуда – это совсем не важно. Незъяснимое чудо – вот и вся недолга. А я, грамотей, дурачина, думал, что-то должно предшествовать – тропки-

дорожки, взглядыванье, узнавание... Нет же! Вот так, и только – вдруг – чудом. Кто ж эта женщина, которую чувствую каждой клеточкой тела, с которой живу и стою здесь прижавшись вот уже тысячу лет? Точнее, лечу в этом звездном потоке, – земли и в помине нет под ногами. Кто она – с моими ладонями на ее щеках, или ее ладонями на моих? И я все стою с закрытыми глазами, а она тихо так отдалается, как отплывает, но мне не страшно, то есть светло и страшно, но лишь потому, что мы нашли друг друга и уже ничто не может нас разлучить, выронить, потерять... Она где-то здесь, как и я для нее – где-то здесь. Мне спокойно, так светло и спокойно, как никогда, только сердце дрожит, но не от тревоги, от счастья. И я возвращаюсь к барной стойке, мы продолжаем о чем-то разговаривать с дочерью, что-то еще заказываем, я вижу ее губы, но голоса не слышу, то есть и слышу и нет – меня относит туда, в только что случившееся. Да ты не слушаешь, – говорит она, – где ты? И я рассказываю ей – сбивчиво, об этом. У нее такое лицо изумленное. Разве ты, говорит, не понял? Это же я была.

Дикий Кур

А знакома ли вам эта бездна между просто ужасом и ужасом тихим? Я ступил в нее в четырехлетнем возрасте вслед за Диким Куром. Не больше страницы занимал этот Кур, но застил весь свет – и тот, и этот. Куд-куда, куд-куда... – вьется Кур у ног путника, заморачивая его, сбивая с пути, уводя все дальше. И вдруг озирается человек и видит: бездна – и под, и над, и во все края. А где ж дорога? – спрашивает он. – А нет ее, – шепчет Кур. – А где ж мы стоим? – обмирает человек. – А нигде, – водит глазами Кур, растворяясь во тьме.

Эту русскую сказку, переписанную Алексеем Толстым, я просил отца читать мне перед сном снова и снова. И все попытки его прочесть мне других сказочников – Андерсена, братьев Гримм – ни к чему не приводили. Кур вился у ног. Куд-куда? Куд-куда? На Кудыкину гору – отвечай, чтобы не сглазить, не закудыкать дорогу. Пока не поздно. Мне уже было поздно – в четыре.

Борхес

Наткнулся в сети на давнее интервью Алеши Парщикова – тех времен, когда он, помимо прочего, был занят в Кельне англоязычным интернет-проектом "Стихотворение на каждый день", а я в Мюнхене занимался проектом гигантского города-лабиринта "Фигура Времени" и писал книгу "Книга":

"Посещая сайт "Слово в день", я начал замечать разного рода совпадения. Есть такой поэт Сергей Соловьев, который болен борхесовскими лабиринтами, пишет о них книги. В день, когда он приехал ко мне в Кельн, чтобы ехать дальше в Амстердам, пришло слово "лабиринт". Хорошо. Соловьев заказывает машину, чтобы ехать на вокзал. А там форма заказа, что если частная машина едет мимо, она тебя подбирает, а ты потом расплачиваешься как за такси. Ему попадается какая-то женщина, которая везет его. Приезжают на станцию, она заполняет бумаги и в графе фамилия пишет – Борхес. Она танцовщица в каком-то театре и понятия не имеет о писателе. Серезу это потрясло. А вообще такие совпадения, которые ты, радуясь, воспринимаешь в течение дня, очень быстро забываются. Как добрые сны, как приснившиеся стихотворения".

Не она

Второй день не могу справиться с неизъяснимым потрясением, просто тихо скольжу в эту бездну.

На "Культуре" показывают фильм о Льве Толстом. Он женится – как-то второпях, за две недели, ему 32, Софье – 18. Наутро после свадьбы он пишет пять букв: "Не она".

Вот если б Господь на утро седьмого дня сказал, глядя на мир: "Не он", я бы особо не удивился. А тут... Для тех, кто понимает.

Крым

Когда в 1989 я махнул свою киевскую квартиру на Гурзуф (кстати, до сих пор прописка у меня крымская), я ухнул в одни самых счастливых лет своей жизни: бродил по яйле в стадах оленей (тогда живых еще), втыкал палки в свалившийся на меня при обмене огород, и они расцветали – то инжиром, то персиком, а семена проступали то дынькой, то хреном, мускат стоил 2.50, я писал книгу «Дар смерти», которую потом набирала в крымской степи под Белогорском наборщица-доярка, а мы с редактором возили ей в сумке свинцовые буквы латиницы, море, по Чехову «пахло арбузом», мы с моей рязанской женой тонули в кисельном счастье и совершенствовались камасутру повсюду – от ветвей деревьев на спине Аюдага до обочин дорог, а когда в нач. 90-х не стало вначале горячей воды, потом холодной, потом отопления, потом электричества, и зимним штормовым ветром высадило окно квартире, и начало ее вместе 5-летним сынишкой засыпать снежком, мы весело ее бросили и сняли курятник в Ливадии, который оказался пристройкой к бывшей конюшне Николая II. Так вот, несколько позже, когда я уже был один, в зимнем Гурзуфе, и электричество давали ровно с 6 до 9 вечера, и все в этот момент одновременно включали в сеть все, что только можно (при отсутствии отопления и газа), и тут же, электричество вырубалось, не выдерживая напряжения, а электрика ждать можно было неделями, я помню, как повесил в своей парадной объявление – мол, давайте соберемся у меня сегодня в 19, дверь открыта, я знаю, как решить проблему – хоть отчасти: создадим график, чтобы не одновременно вышибать пробки. Как говорил Маяковский: «В семь, сказала Мария. Восемь, девять десять...». Так никто и не пришел. И стояли у окон всю зиму, как в летаргии, в телогрейках, прижимая детей к груди. 8 месяцев летаргии, 4 – сезон. Это и есть время, крымское. Другого нет, часов тут не носят за ненадобностью. Индусы тоже не носят, но по-другому: нет начала времен, нет отсчета, есть 12 календарей – вроде комикса. Но чтут письменность, в отличие от. В те же годы я много писал о Крыме (потом это собралось в книгу «Крымский диван»), сегодня всплыло одно шутивное стихотворение оттуда – сегодня оно читается уже несколько иначе.

Крым похож на цветущий лобок.
Тайна ног – в пучеглазой пучине.
Вероятно по этой причине
Здесь бывали и Пушкин и Блок.
Его бедра – крутой Тарханкут
и крутой Казантип. И попарно
там росли созревая татары,
плодоносил кацапокугут,
в море греки впадали, и Грин
разбавлял феодорино горе,
минотавры паслись на просторе
и щипали плакучий раввин.
Много леты текло. И у скал -
В красной шапочке солнце оскал
волка черного моря в овчине
пены разоблачило. В ночи не
шевелинется ни дьявол ни бог.
И ни Запада нет, ни Востока.
Остывает цветущий Лобок

и целует звезда между ног
его в родинку – в Севастополь.

Тарарахнул занзивер

Скажу о том, на что не оглядывался. Но и теперь не собираюсь искать подоплеку и объяснения. Просто скажу о факте. Третью жизни я отдал смеху. Как омуту, с головой. Кульминацией этого смеяльного столпничества был период где-то с четырнадцати до двадцати пяти лет.

В ту пору нас было пятеро неразлучных друзей, смеялись мы до упаду дни напролет – по поводу и без, надо всем на свете, и подо всем, и сбоку, и со всех сторон, до колик, до изнеможения. Это, конечно, не отменяло и других состояний ума и души, но воздухом, которым дышали, был именно смех. Чтобы быть правильно понятым: от нормы веселого и крайне смешливого человека это так же отличалось, как от камень от лошади.

Двадцатилетний гомерический марафон. Путешествуя товарняками по бывшему Союзу, наряжаясь фриками с раскладушками вместо рюкзаков и в комнатных тапках в тридцатиградусный мороз отправляясь в бесконечные походы, и в тех же тапках полуголые, хохоча, взбегая на Эльбрус, угоня «кукурузник» и рея на нем, изнемогая от хохота, над степями Украины, срывая ночью красные флаги с домов на центральной улице в канун Октября, перешивая их на походные балахоны, собирая веселую милостыню в электричках, бесчинствуя и лицедействуя повсюду, вплоть до священных государственных границ, умирая от смеха в «обезьянниках» и на допросах, но и без всего этого – в пустоте, в темноте, при одной только мысли друг о друге или о себе, или о жизни в целом – мы уже наполнялись смехом.

А началось все, когда меня восьмилетнего перевели в другую школу в связи с переездом родителей. Я вошел в класс и увидел вдали мальчика, окунавшего перо в чернильницу, встретились взглядом и рассмеялись так безудержно, что как нас ни выставляли за дверь – обоих и поочередно – остановиться мы уже не могли. На многие годы. Мы и сейчас, не видясь лет пятнадцать, встретились этим летом в Киеве и не могли толком не то что поговорить, а и разглядеть друг друга – как тогда, с этим пером, тюкнувшим в чернильницу.

Где-то с класса пятого-шестого в школу мы уже не ходили, а навевались временами между нашими странствиями – ближними и дальними. Помню, как-то вхожу – урок географии, Индию проходят. Старенькая, оплывшая географичка в черепаховых очках, сама как Индия в тумане. Я начинаю: «Индия, о высокочтимый мой Учитель, находится почти на самом краю земного диска и населяют ее золотоносные муравьи...» Ну и так далее – из той пластинки про Хотабыча и Вольку-ибн-Алешу. Она еще как-то пытается поначалу держаться, но я уже, войдя в раж, несу такую околесницу под улюлюканье класса, что она тихо оседает на стул, бледнеет, приезжает скорая... Нет, все обошлось тогда. Стыдно, конечно, оглядываясь, но уже не вычеркнуть.

Или вот в классе восьмом, кажется, прихожу в школу – садху такой, в патлах, чумазый, одет во что-то несусветное. Директриса меня затаскивает к себе в кабинет, а я медленно так хладнокровно довожу ее до истерики своими репликами, она в ослеплении пытается сорвать с меня одежду: мол, голый будешь ходить у меня! Ну-ну, говорю, помогая ей, посмотрим. А несколько дней спустя я устроил ей пышные похороны – по высшему разряду. Соорудили гроб, положили в него ее муляж – голый, чуть прикрытый, на удивленье удавшийся, вплоть до лица и прически, украсили цветами и понесли вокруг школы – круг за кругом, ясным погожим днем. Самодеятельный оркестр, процессия, рыдания в голос, причитанья навзрыд, распахнутые окна, запруженные школьниками... А по окончании школы, после моего очередного перформанса на вступительных экзаменах в Художественный Институт, когда я вынудил опешившего преподавателя истории СССР поменяться со мной местами, поскольку теперь у меня к нему оказалось

пару вопросов, я уехал на два года в Почаевскую Лавру работать художником-реставратором. Жил я там же, в монастыре, и практически делил с монахами весь их быт, что было, конечно, с моей стороны идеологическим предательством по отношению к направившему меня советскому учреждению. Поначалу было чудесно, но и невыносимо, поскольку нас там со смехом было только двое. Вскоре я сошелся с одним дьяконом (по кличке, данной ему самими монахами, – «комсомолец»), и мы с ним, выбираясь через окно барабана на крышу высоченного Успенского собора (я по лестницам, а он, в рясе, по решетке лесов, подтягиваясь с переворотом), гоготали там, распугивая ворон и высматривая в бинокль хорошеньких прихожанок.

Увольняли меня из этой эпохи реставрации не раз. Бригадир-партеец (с фамилией – и это чистая правда – Честнейший) вручал мне докладную записку на меня, которую я должен был передать в Киеве начальнику. Я брал ее и ехал во Львов на неделю – гулять-веселиться. Благо, денег у меня было тогда – хоть самолет покупай, поскольку после дневной работы я тайно расписывал одну хуторскую церквушку, и прихожане были щедры (однажды они выдали мне месячную сумму монетами – пришлось везти эти неподъемные килограммы денег на строительной тачке ночными дорогами, чтобы к рассвету доволочься к монастырю). А на обратном пути из Львова я дописывал на той докладной слегка изменившимся почерком: мол, идеологическая работа с Соловьевым проведена, взыскание наложено, рекомендовано приступить к выполнению обязанностей с такого-то числа. Подпись (начальника). И, вернувшись, продолжал танцевать свое авантюрное счастье на двоих, дожидаясь приезда друзей, когда мы ночью уведем из монастырской конюшни исполинских огненных лошадей и с дурацким хохотом ускачем в счастливые дали...

Так продолжалось где-то до тридцати, потом я переехал в Крым, но и потом, во второй половине жизни это «перо с чернильницей» никуда не делось, просто играло на других полях. И еще лет пять назад я просыпался в слезах от смеха или вдруг падал, левитируя во сне, от него же. Как когда-то в детстве, помню, снился мне в течение нескольких месяцев кряду какой-то сон-сериал, выдуманный, уморительный, продолжаясь на следующую ночь ровно с того места, на котором прерывался, настолько смешной, что я вываливался из кровати и находил себя наутро в разных углах комнаты, и от этого каторжного смеха за ночь все тело ныло и жаловалось: больше не надо, выключи!

Ну теперь с этим, слава богу, полегче. Хоть с этим. Не вываливаюсь из кровати.

Где ты, жизнь? Мисюсь, где ты?

Связь

Мир природы – от Бога, а мы от демона – того, поверженного. И еще вопрос, чья отцова травма глубже.

Нольдистанция. Игра в Дым

Я в растерянности. В двух словах не скажешь, об этом надо бы книгу писать. Но я мало что помню (как-то всю жизнь с азартом в будущее вглядывался, ближайшее, а прошлое гуляло само по себе, без повода). Островки, вспышки. Странно, ведь это было, наверное, одной из самых чудесных творческих авантур в моей жизни. И, надеюсь, не только в моей. А никаких следов. И изображений почти не осталось. Эти несколько, кот. нашел, – не дают никакого представления ни об атмосфере (переполненных залов, когда публика висела на окнах, теснила нас со сцены, ни о самом «театре» – действо состояло из нескольких «спектаклей», идущих одновременно (на сцене, в зале, над залом, за его пределами...) и составлявших единый спектакль, кот. постоянно находился в стремительных изменениях, опережая не только возможность адекватного считывания, но и свои очертанья, перерисовывая их на ходу. Назывался он «Игра в дым», а театр (точнее,

движение, в кот. за пару месяцев влилась уйма людей...) – «Нольдистанция». Было это в Киеве, в 1986, возникло спонтанно – после одного из моих поэтических перформансов, объединились и двинулись. В качестве текста мы взяли мою поэму – задиристо ироничную – «Игра в дым». Вскоре город залихорадило нашими постановками, началась истерия в газетах, угрожали Сибирью, вились гэбэшники, перекрывали пути, но мы все это как-то весело смахивали и продолжали «брать» город. Черт его знает, почему год спустя мы остановились. Может, на слишком больших оборотах начали и надо было переходить на более спокойный режим. Ведь в основном публика шла на нас как на скандал, на шумный прорыв в махровом застое тогдашней жизни, и упускалось все то, что хотелось донести – поиски новой эстетики, сложный образный ряд, какие-то тонкости и пр. Но перейти на этот спокойный режим тогда, наверное, было непросто – в том полулегальном положении и при тех наших амбициях и кураже. А произойди это, думаю, возник бы совершенно новый театр. Во всяком случае, все, что я за эти 25 лет после «Нольдистанции» видел у нас и Западе, оставляет за тем началом большие преимущества, похоже, никем не наверстанные. Жаль, что эти несколько уцелевших снимков (а видео ушло куда-то на Запад, безвозвратно) показывают лишь детали и частности – случайные и малохарактерные (вначале несколько снимков со спектаклей, потом – спонтанная импровизация на выставке в Октябрьском Дворце, и в конце – уличные, на Андреевском Спуске. А спектаклей (не считая уличных перформансов) было четыре: в Доме Учителя, в театре Киноактера, в университете и клубе Железнодорожников.

Пригов

Смотрел вчера лекцию Михаила Ямпольского о концептуализме и Пригове, и вспоминал наши с ним, Приговым, встречи. Среди разных и в разные годы, был такой странный период в 2005, кажется, когда мы встречались чуть ли не ежедневно, приходя в клуб Дом задолго до начала каких-то мероприятий там, и слонялись с бокалом чего-нибудь, каждый в своем межвременье, – видимо, оба мы тогда что-то похожее переживали. А когда траектории пересекались, останавливались, улыбались друг другу, испытывая какое-то особое расположение, доверие, которое хотело говорить, как с очень близким, но всякий раз откладывало, ограничиваясь какими-то малозначащими фразами, которые так же, как мы, потом слонялись по еще пустынному залу.

Как-то я попросил у него тексты для "Фигур речи" – альманаха, который издавал в те годы. И вот в Доме он спрашивает: ну как там мои тексты, напечатали? Нет, говорю, я их не взял... И улыбаемся, и расходимся. А потом сближаемся на втором-третьем круге: это, говорит, мне нравится – что не взяли, очень нравится. А я: ну не то чтобы не взял, даже наоборот: взял и напечатал. Но не там. Вот именно, говорит, очень, где же? В Речевых ландшафтах, говорю, в Оргазме и катарсисе. И расходимся.

А как это вы, Сережа, говорит он на следующем круге, умудряетесь покидать Москву на столь длительные периоды – в Индию или еще куда? Я вот, когда отлучаюсь, крайне волнуясь – разве можно? Это ведь все время надо поддерживать, Вы не находите? Да, говорю, только вот с какой стороны? И расходимся...

И еще вдруг сейчас вспомнил, как он звал меня на свою выставку, проходившую где-то на краю города. Пожалуйста, Сережа, мне бы там очень хотелось Вас видеть... Как-то так беззащитно и одиноко тепло...

Дом композиторов

Давно это было, тысяча и одна ночь тому, в зимней Москве. Встретились мы на каком-то шумном вернисаже в Москве. Точней, столкнулись в толпе – и взглядом и фужерами. И прошла оторопь – обоих – телесная и та, что над. Вышли, ни слова, кажется, не произнеся. Ночь, метель, долго кружили по заснеженному городу, замирая, вглядываясь

друг в друга и прижимаясь. Ее полумуж видел, как мы ушли, и рыскал по улицам со своими друзьями-кавказцами. А мы оказались в каком-то дворике на Тверской, у Дома Композиторов, вошли с черного хода, поднялись куда-то, ткнули дверь и прикрыли ее за собой. Полутьма, жиденький свет фонаря за окном. Огляделись. Это был склад муз. инструментов. Валторны, трубы, контрабасы, они лежали на полу, вповалку, накрытые какими-то блеклыми одеяльцами, чуть выглядывая из-под них, мерцая. В дальнем углу – припавшее на бок фортепиано, нотные листы, рассыпанные повсюду. А на стенах – портреты композиторов. Суровые, задумчивые лица в тяжелых позолоченных рамках. Глинка, Чайковский, Мусоргский... Со зрачками, как водится, ровно по центру, чтобы видеть тебя, как бы ни уворачивался от взгляда. И вот мы лежим посреди этой комнаты, на полу, на сдернутых с музыки одеяльцах, обнявшись, прижавшись друг к другу, и я смотрю поверх ее голого зябнувшего плеча на эти стены, откуда не сводит с нас глаз весь этот сонм композиторов, весь их 19-й век. И от покачивающегося за окном фонаря и света, скользящего по их лицам, они кажутся не менее живыми, чем те, на кого они смотрят.

Книга

В конце 90-х я написал книгу, способную лишить разума, похоже, любого, различающего буквы. Буквы, изображения и числа. Она так и называлась: книга. Без имени автора на обложке. Написана она была довольно быстро, но подготовительная работа длилась четыре года – круглосуточно. К счастью, вышла эта книга мизерным тиражом: в Москве продавалось, думаю, несколько десятков экземпляров и в Киеве столько же. В Сети книги не было и нет. «Комментарии», М., СПб., 2000., 150 стр. плотной оберточной бумаги, формат книги – квадрат.

Аннотация – с крайне серьезным лицом, едва сдерживая эту мину – предуведомляла: «Полиморфная история странствий намерений и языка, развернутая вокруг авторского проекта Фигура времени, образует четырехъязычную одиссею книги. Травестийная дискуссионная группа, заточенная в один из ярусов, вступает в виртуальный обмен с Фигурой, являясь своего рода читательской проекцией происходящего».

В ту сторону, куда двигалось развитие проекта, указывают две цитаты: «Я подумал о лабиринте лабиринтов, о петляющем и растущем лабиринте, который бы охватывал прошедшее и грядущее и каким-то чудом вмещал всю вселенную... Потеряв ощущение времени, я почувствовал себя самым сознанием мира» (Борхес) и «Жизнь и смерть во власти языка, и любящие вкусят от плодов его» (Соломон).

История создания самого проекта лабиринта дана ниже, после этого текста (я написал это здесь, в фб, 2 года назад, сопроводив снимками). Сейчас я к тому альбому добавил несколько сканов самой книги и попробую о ней сказать несколько слов.

Книга начиналась с раздела «Дромос» (то есть вход в лабиринт): 20 страниц сумрачной графики на мелованной бумаге – медитативная адаптация зрения, восприятия. Прерванная посередине несколькими фрагментами текста под номерами 35.6, 35.7... – видимо, из другого раздела.

За ним – протяженный текст «Четверг обитания», сказать о котором я ничего не могу, просто не нахожу себя достаточно подготовленным. Формально – это некие фрагменты речи под номерами, разножанровые и разностилистические, где-то рваные, где-то тщательно вмняемые. С большим разлетом – от сухо интеллектуальных до – «вихрем жалобным и воем», от стихотворной ткани до мистериальной госсолалии (той «дискуссионной группы», в которую входят некий Дзын, Варел, Патрица, Третий во мне, Мария Атоповна и др.). Отчасти это похоже на дневник трудов и дней человека, челночащего меж двумя реальностями: бытовой (лирической) и на глазах создаваемой реальности будущего лабиринта «Фигура времени». На полях и разворотах книги все чаще появляются чертежи, расчеты, графемы.

В третьем разделе дан сам проект – архитектурные выкладки, описание и два возможных опыта прохождения человеком этого лабиринта (один – среднестатистического посетителя – дан обычным способом, по ходу движения страниц, другой (видимо, авторский) – обратным течением, вспять, на нечетных страницах, вверх ногами. В последнем разделе – 3-D изображения Фигуры как уже существующей. И завершается списком благодарности тем, кто содействовал развитию проекта: японскому ордену Ниподзин, профессору Галимберти, Питеру Гринуэю и др.

После выхода книги я снова бросил писать и на годы исчез из поля видимости. Тем временем появилось четыре отклика на книгу: три – по горячему следу, и один – лет пять спустя. Но можно сказать, что и ни одного. Последний написан Алешей Парщиковым и входит в его книгу «Рай медленного огня» (его тоже нет в Сети, а жаль, что НЛО не выкладывает книг даже многие годы спустя). Это эссе, скорее, не о самой книге, а о проекте лабиринта. Не потому, что книга его не достаточно заинтересовала. Напротив: он считал ее уникальным событием и не раз сетовал, что «круги» ее проморгали, в частности, круг премии Белого. Просто в этом эссе и тема и задача у него была другая. Первым был краткий отклик Дмитрия Бавильского, где он пишет, что я мыслю уже не строфами, но громадными массивами лирической прозы с троюродными отношениями между означаемым и означающим, тем самым «обретенным временем» вечного становления. И заканчивает тем, что прочитать эту книгу невозможно – ни разом, ни по частям, изменчивым, как калейдоскоп, с финальной фразой из Пруста: «Сколько великих соборов осталось незавершенными». Между ними – две довольно протяженные рецензии. Одна – Александра Касимова в «Знамени», где он блуждает в лабиринте книги, в этой, по его словам, литературной башне Татлина, и рецензия Александра Уланова в Русском журнале.

Оглядываясь

Когда-то по молодости я сказал, что мир спасает не красота, а разлад – потому что дух с ним в работе, а в красоте отдыхает. Ох не знаю, не знаю теперь.

Аахен

Пограничный с Голландией немецкий городок проституток и сифилитиков (18-19 в.), а в прежние времена известный своей королевской резиденцией Карла Великого, дух которого наматывает уже вторую тысячу лет в одноименном соборе – то в раке, то под сводами, а волшебное кольцо Карла, спрятанное в пригородном замке, до сих пор в розыске.

О Карле, среди прочего, любопытна и такая история: лет двести спустя после его кончины, пришел варвар с севера, захватил земли и для пущей важности влез в гробницу к Карлу и выдрал у него зуб. Карл, по словам свидетелей, сидел в гробнице со скипетром и в мантии, как в кресле стоматолога. Варвар вставил себе его зуб и подписал: «карл». Это был последний из подписных зубов его широкой варварской улыбки.

Где еще, как не в этом городке, встретиться к Катей Дробязко и маленьким Матвеем Парщиковым.

И вот идем мы по заснеженному безнебесному Аахену и решаем с малышом, какой леденец преподнести духу великого Карла – лимонный или апельсиновый, останавливаемся на каждом перекрестке, пересчитываем леденцы, он шевелит губами, перебирая варианты возможной речи, обращенной к духу, переспрашивает меня, будет ли он один или со своей королевой и пр. Мы очень увлечены, мы приближаемся к Карлу. Как когда-то приближался – к другому Карлу – его отец, Алеша, живший на поле полтавской битвы. И, возможно, так же шевелил губами, подбирая слова.

А тем временем мы перекидываемся репликами с Катей о поразительном сочетании христианских реликвий, угораздивших этот вздох-городок. Здесь хранятся – буквально,

через запятую: платьишко Марии (в котором она рожала), пеленки Иисуса (но не нижние), набедренная повязка его, повзрослевшего, и тряпка, в которую была завернута голова Иоанна Крестителя. Все святыни – х/б.

В собор мы вошли с леденцами за щекой, а третий – в руке маленького дароносца, который был очень взволнован и все переспрашивал: а достаточно ли одного зеленого леденца или добавить пакетик сахара и лимонной воды, умыкнутой нами из булочной. Хотя, вздыхал он, ты говоришь, что он тысячу лет не видел леденца... Долго искали, где ему оставить его. Наконец, сошлись на кадке с какой-то зарослью у алтаря, которую сторожил грифон. Маленький Парщик стоял, сунув руку в эту зелень и что-то шепча, зажмурившись в сумрачном витражном соборе.

Из переписки

Как-то мы решили с Михаилом Шишкиным затеять своего рода эпистолярную одиссею – о буднично вневременном. По иронии судьбы, начало переписки пришлось на конец февраля, накануне роковых событий на Майдане. Я успел написать первое «вневременное», письмо Миши уже целиком был развернуто в сторону Майдана. Я ответил, после чего мы решили отложить нашу затею до лучших времен. И вот, четыре года спустя перечитав эти письма, я думаю, можно показать их, опустив Мишино письмо – без его согласия делать это я не вправе, но и по его публичной позиции и по контексту понятно, какое оно. Вот мои два – до и после.

19-02-2014

Я помню, Миша, как однажды в безвременье между Старым и Новым я приехал к тебе в тихую деревушку, где ты поселился, назвав ее своей «ясной полянкой», и каждый день мы выбирали, куда пойдем: направо – в Швейцарию, или налево – во Францию, потому что деревушка эта находилась ровно на границе, но никаких примет этой границы не было. И вот мы ходили по горам, то разговаривая, то молча, то останавливаясь у неожиданно встречавшихся на пути лам, глядевших на нас, как вены в мехах. Кстати, знаешь ли ты, что антропологи обнаружили у Милосской неправильный прикус? Вот тебе и «плохая физика, но какая гармония!». А потом возвращались, стряпали, читали (ты уходил на мансарду), а к вечеру садились у камина, открывали бутылку хорошего вина, расставляли шахматы, и разговор шел своею дорогой – мимо шахмат и огня, а порой казалось, и мимо нас – сам себе человек. Вот и сейчас, Миша, давай расставим шахматы и посмотрим, в какое «никуда» он пойдет. А для первого хода – такая картинка.

Смотрел я вчера на ютубе двухчасовую речь Натальи Исаевой о речевых энергиях в шиваистской картине мира, об отсветах Киркегора и Хайдеггера, о театре Васильева. Об окольной, эллипсоидной речи как божественной вахане, способной приблизить нас к неименуемому, настоящему, попросту говоря – к озарению жизнью.

Смотрел, а в глазах всплывала земля Семи сестер (это в Ассаме, юго-восток Индии), куда не очень-то ездят из-за несмолкающих войн между тамошними племенами. И вот в глухую деревушку рядом с одним заповедником у Брахмапутры, где я пару недель жил вылазками в джунгли, приехал передвижной театр – вроде индийского «Глобуса». Место для представления выбрали на краю деревни, у самой границы с джунглями, построили шатер, сцену, зрители шли со своими стульями, или садились просто на траву. Моими соседями в ряду были егеря в камуфляже и с шарфами, повязанными на голове на манер платков, они смотрели, опираясь на свои полутораметровые допотопные ружья времен британской колонизации. Время от времени у них включалась рация и они переговаривались с патрулем, ушедшем в джунгли или с диспетчером (двумя днями ранее я ходил в ночную с таким патрулем: когда наутро мы возвращались, по рации сообщили, что соседний с нами патруль расстрелян браконьерами в упор из автоматов. Кончив, они допилили рог у полуживого носорога и исчезли). Спектакль длился часов 5-6. На местном

наречье. Смотрели всей деревней. С едой, детьми, собаками, коровами и пр. А за спиной – но еще далеко – горели джунгли. И огонь стремительно приближался, опережая дым, подымая зарево в полнеба. И этот, погруженный во тьму, зрительский островок находился как раз между двух этих освещенных сцен: актерами перед лицом и горящей природой за спиной. И голоса актеров смешивались с голосами слонов, носорогов, оленей, теснимых огнем к деревне, к людскому театру. А в ладони моей – ладонь женщины, силуэт которой во тьме. И во тьме ее живота – наш ребенок, зачатый в джунглях, в опустевшей пещерке отшельника, отошедшего уже к другой речи. И вот я думаю, эта неясная полянка между мирами – там, в земле Семи Сестер, на чужом наречье, с этой ладонью в руке и заревом за спиной – и есть я, дом, род, родина, здесь и сейчас. Ведь родина – не земля под ногами, не могилы предков, и даже не язык, а блуждающее окно, которое вдруг совпадает с тобой и распахивается внутрь тебя. И произойти это может в любое мгновение и где угодно. И так же безотчетно покинуть – до следующей встречи, непредсказуемой и иной. И этим окном может стать вечер, ладонь, зарево за спиной... Душе ведь закон не писан, и родина ее не здесь. А как ты это чувствуешь? Наверное, по-другому? Ведь при всей нашей чуткости друг другу, есть и естественная разность: здесь, например, как между странничеством и уединенностью.

И еще. Вот Кафка говорит: «Есть цель, и нет никакого пути. Путь это наши сомненья». Как ты думаешь, о какой цели тут речь?

23.02.2013

(...) Вот, Миша, думали поговорить «в стороне от мира», да видно нельзя никак. Да, в эти дни мир стал другим, Украина – другой, но и мертвых не воскресить. Ты вспоминаешь маму, ее связь с Украиной, а я киевлянин с головы до пят, в нескольких поколениях, и родился и вырос в Киеве. И вот смотрю я в свой паспорт гражданина Украины, в паспорт человека, о котором нельзя сказать ни что он не живет на Украине (поскольку живет), ни что он эмигрировал (поскольку не живет там, куда вроде бы переехал), ни то, что он в Индии (поскольку для него это, скорее, не страна, а наиболее близкое состояние), смотрю и думаю, что сильно меня отнесло за годы странствий от этих, да и других берегов, что нет никакой родины, нет никакой борьбы за «светлое будущее», нет коллективной свободы и нет смысла ни в чем, приносящем жизнь в жертву подобным фантомам. Ни одна война, ни одна революция, ни одно религиозное движение не оправдало благих намерений. Все они обернулись дорогой в ад. Так устроена наша людская общность, и исключений в истории не было. Да, я понимаю, что не все так просто и однозначно, что есть границы терпения, унижения, хамства, что вымести мерзавца с его кровавой бандой из своего дома – дело даже не чести, а естественного права на воздух, которым дышишь. И что порой чаша эта переливается, объединяя людей. Не только понимаю, но и, сколько помню себя, жил с этим «майdanом» внутри. И в 1970-80-х – не только внутри, а и срывал флаги с домов в дни годовщин и швырял камни в здание КГБ, и писал, и читал на площадях, и много еще чего. И дело не в том, что с возрастом стал скептической, равнодушной и пр. Нет. Чувство свободы и ее достоинства по-прежнему во главе жизни. Но не ценой этой жизни – ни своей, ни другого. В мирное время это извечное противоречие, этот проклятый вопрос – с трудом, с компромиссами все же решаем, не целиком, но от шага к шагу, продлевая это шаткое равновесие. В не мирное – нет решения, есть сплоченье в эмоциональном порыве, есть чаянья – чистые, праведные, и есть их последствия. Как показывает история, не оставляющие от этой чистоты и следа. Ни один жест, даже индивидуальный, в этом поле чудовищных многослойных искажений, где видимая часть – ничтожна по сравнению с иезуитскими коллизиями закулисы, невозможно удержать не то что в чистоте, но и вообще контролировать: любое движение в этой среде попадает в поле дурной бесконечности превращений, присвоений и – в лучшем случае – утрачивает с тобой связь. В этом смысле, Майдан уникален: ему удалось исторически невозможное – в течение трех месяцев удерживать свой жест в его чистоте и

адекватности, не позволив его замарать и не пролив ни капли крови, и где – на главной площади страны, в ее голове, в кроваво грязном хороводе кривых зеркал власти и т.н. друзей народа, которых еще поди отличи от оборотней, да и сам народ на Майдане не однороден ведь, при том, что и цель, которая привела его на Майдан и сплотила, не была предзаданной, да и потом не стояла на месте. Все это невероятно и непредставимо ни в одной стране, и не потому, что власть там сразу применила бы силу, а именно вот это сохранение достоинства многотысячным лицом как одним человеком, и не в минутном порыве, а в течение трех месяцев, целой жизни, да еще и в условиях, по определению, не оставляющих на это шансов. И это даже уже не подвиг, а что-то за его пределами, одиноко стоящее, как Слово о полку Игореве.

Всё так, но потом приходит февраль и приближается к 20-му. И вот ты говоришь, что на Украине «национальное движение, захватившее всех, сверху донизу, поэтому там с одной стороны горящих баррикад весь народ, а с другой – прорусское проворовавшееся начальство...», но там, где ты располагаешь народ, уже два народа: майдан и отшатнувшийся от него юг, юго-восток Украины. И эта трещина растет. И учитывая, что ни лидеров у страны, ни программы действий нет и взяться им неоткуда, что все варианты перетасовки власти не оставляют ни одного (достаточно посмотреть на парламент – не надо быть большим физиономистом), что по закону маятника власть перейдет к такому же «януковичу», но теперь с прозападно-украинским гонором, при всем при этом остается только верить, что страна не рухнет в бездну смуты, разламываясь пополам.

На сегодняшний день президент в розыске, апостолы отрекаются, казна пуста, страна банкрот, Тимошенко выкатывается на Майдан, по которому плывут гробы, Верховный совет подымает вопрос языка, усугубляя трещину, Россия молчит, Запад действует заведенными за спину руками, Украина верит в победу, не уступаемую ни фарсу, ни трагедии. Дай же Бог.

Ты говоришь о стыде за пресловутое долготерпение русских, об их бесконечной щеке, которую они подставляют вместе с головой. Наверное, не совсем так, хватало в истории России и других примеров. Да и не только у русских такая щека, есть и шире: индусы семьсот лет были закатаны под асфальт мусульманами; отнят язык, выкорчевана культура, насильно впихивали в рот куски говядины, отсекая от веры. И – никакого сопротивления: семьсот лет спустя, как трава, проросли, поднялись, нерастрачены. Да, и это тоже не путь. Возвращаясь к Кафке, нет не только путей, кроме сомненья, но и наличие цели сомнительно. Несомненны лишь лица погибших. И я не могу – физически – глядя в их лица, кричать: слава героям. И если говорить о стыде, то испытываю я его скорее оттого, что умом я с Майданом, а сердце не принимает этот путь, предчувствуя, куда он ведет. При том что и других путей вроде бы нет. Но что есть ум – мая, головная боль без головы. Впрочем, и выборы – в мае. Остается надеяться лишь на молодых, но будет ли оно допущено, и будет ли найдена фигура равновесия между Западом и Востоком, и какой ценой?

Я рад твоему ночному счастью – в любви с любимыми.

А помнишь, в той новогодней яснополянской сказке, за шахматами, у камина, я сказал, глядя в окно: какой тихий райский тут уголок. На что ты ответил: да, вот в соседнем доме человек повесился, и очень, очень не скоро его обнаружили.

Растождествление

Просто паришь с разведенными руками, ложась на ветер. Которого нет. В пустоте. Как после смерти. И чувство такое, что это уже без «как». И, кажется, понимаешь, почему отсюда не возвращаются. От растождествления. С собой, с людьми, с жизнью. И единственное, что еще удерживает – и уже не удерживает – письмо.

«Фигура Времени»

Я вот думаю, как бы об этом сказать в двух словах – о том творческом приключении, которое вышибло меня из жизни года на три, если не больше. Вначале был коньяк, на высоте 10 тыс. метров, во фляге рта, в течение 9 часов перелета в Штаты, 95-й год, кажется. А в руках какая-то английская газета. Тогда уже медиа начинало понемногу лихорадить в преддверье миллениума. Читал какую-то заметку, м.б., о «Куполе», который собирались строить в Лондоне, и подумал: а каким действительно мог бы быть символический монумент «всех времен и народов» к этой дате? С этой забавы ума все и началось. Несколько месяцев спустя проступили какие-то исходные составляющие: пространственная фигура лабиринта, содержанием которого должны быть Язык и Время как универсальные категории для любого этноса. Кроме: этот монументальный лабиринт должен быть процессуальным, интерактивным и принципиально не имеющим завершения, видоизменяясь при взаимодействии с каждым посетителем, для которого, в свою очередь, это тоже не просто аттракцион, а экзистенциальное поле для проживания и превращений.

Ну и пошло, поехало. Через пару лет у меня скопилось уже, наверное, несколько километров эскизов, чертежей, выписок, описаний, моделей в различных материалах и техниках, ворохи проектной документации. Периодически мне помогали друзья по Ковчегу – Дзын и Варел. В результате получился такой двухъярусный город, размером с московский кремль: нижний ярус – подземный лабиринт (собственно, главная, иницирующая и провокативная территория, где все и происходит) и верхний – видимая часть: стоящая в озере фигура уробороса, свинченная в восьмерку, внутри которой расположена галерея интерактивных фигур времени всех нынешних этнокультур (каждая страна делегирует группу художников, которые инсталлируют свою «фигуру», свой образ времени + озвучка этой фигуры несколькими афоризмами о времени известными мыслителями этой страны), то есть такой психоделический сад времен, где также происходят различные «магические» взаимодействия, но попасть в него может лишь тот, кто прошел подземный лабиринт. Эта подземная часть в плане имеет вид развертки магического квадрата и делится на четыре зоны (огня, воды, земли и воздуха). Среди множества «провокативных» ситуаций (цивильных, конечно, – ты можешь поддаться им, а можешь и проигнорировать), в которые попадает посетитель, была, например, и такая: запись своего «мессиджа» (о времени и о себе) – звукозаписывающие устройства расставлены по всему лабиринту (чем ближе к центру, тем шире площадь трансляции), оставленное послание с периодичностью воспроизводится практически вечно, со временем превращая безмолвный (до первого посетителя) лабиринт в голосовой вавилон, говорящий на всех языках. С другой стороны, посетитель выходит из лабиринта со своего рода «фонетическим бессмертием». В общем, много чего там было наворочено. Если сказать непрямо, то это был такой как бы Борхес и Хлебников, ведущие за руку Алису в довольно взрослое зазеркалье.

Ну вот. К тому времени я был уже вконец изнурен этой пафосной утопией с ее циклопическими трудоднями, а впереди еще оставались всякие архитектурные и инженерные «мелочи», типа, канализации, аварийных выходов, дорожек для инвалидов и пр. Наконец, и это было сделано (хотя, ни технического образования, ни опыта у меня не было и приходилось что-то начитывать по ходу, но, когда я, уже в Мюнхене, обратился к специалистам за помощью, они, поправив детали, сказали, что в целом все довольно грамотно), и, чтоб избавиться от этой уже обрыдлой ноши, я послал проект в несколько крупных международных организаций. И оказался втянутым в не менее изматывающий марафон бесконечной переписки с ними.

Тем временем, последовала серия публикаций в нашей и западной прессе об этом проекте (к моему недоумению, проект подхватили в основном архитектурные журналы, которых привлекло то, что для меня было третьестепенным – то есть внешнее, одежда). По

первому каналу ТВ Германии прошел трехсерийный фильм-интервью (реж. А. Клуге), где я рассказывал-показывал. Проектом заинтересовался Питер Гринуэй, была мысль сделать фильм...

Я все еще продолжал исправно отвечать на письма и слать требуемые дополнения, расчеты, бизнес планы, калькуляции и прочую хренотень, но все чаще вспоминал наш разговор с Битовым, когда мы сидели с ним у моря в Коктебеле и я ему рассказывал – тогда еще с горящими глазами. А он сказал: «Зачем это вам, Сережа, все эти бетономешалки и государства скурвят идею, превратив ее в диснейленд. Представьте себе Леонардо, который положил бы жизнь на воплощение изобретенного им унитаза или подводной лодки. Вы же писатель, пишите книгу».

Внял, написал – правда, три года спустя и уже в том состоянии, когда вряд ли мог сообщить что-ниб. вразумительное. Так и назвал «Книга», без имени на обложке. Один из парадоксов ее оптики был в том, что в мистериальную околесицу текста почему-то верилось больше, чем в очевидную реальность фотодокумента, которым она заканчивалась. И именно как в реальность верилось больше. (Как у Эйнштейна: чем больше наука опирается на реальность, тем менее она определена, и чем менее она определена, тем более опирается на реальность.)

И вот, когда, казалось бы, весь этот многолетний кошмар начал понемногу меня отпускать, эта самая «реальность» тихо подошла со спины и, как в дешевых фильмах, похлопав по плечу, поманила за собой пальцем, посадила в самолет, переместила в лимузин и с эскортом мотоциклистов в белых перчатках передала в мягкие лапы исполнения желаний.

«Херр профессор, – сказал мне председатель Счетной Палаты Германии, назначенный руководить строительством парка в приморском городе Росток на севере страны, – конечно, Ваш проект, скорее, для Нью-Йорка, Парижа... Берлина, в крайнем случае. Но, согласитесь, когда строился Лас-Вегас, это ведь тоже было Богом забытое место... Вот здесь, – и он указал в центре уже отчасти выстроенного парка огороженный пустырь, – будет стоять Ваша Фигура Времени. Документацию мы уже передали группе специалистов, готовившей недавнюю ЭКСПО...»

Я слушал их, как во сне, глядя на дождь за окном, пытаюсь проснуться. Благо, вскоре начались повсеместные сокращения бюджета в связи с переходом на еврозону.

Аллилуйя.

Аминь.

В Некрасовке

На вечере в Некрасовке. Еще раз – спасибо всем, кто был. Там на экране – снимки из Индии. Я в той же одежде, в которой ходил в джунгли, за исключением свитерка, который держал для особых визитов к чиновникам Лесного Департамента. А на столе там – бутылка гималайской воды, купленной за последние 40 рупий в аэропорту. На обратной стороне этой бутылки уже в Москве я прочел странный и чудесный текст, написанный от имени этой воды – человеку (но это не сразу и не до конца ясно), мол, я, собиравшая себя по капле и томящаяся в этой преходящей форме, обращаюсь к тебе, создателю миражей... И заканчивается: давай, насладись своей иронией!

Черт его знает, что со мной делает Индия. Кажется, я постарел на тысячу лет и помолодел на две.

Гудрун

Есть такой древнегерманский эпос «Гудруна». Двадцать лет моих отношений с мюнхенской разгуляйкой, заквашенной на временах битников, бесцеремонной чертовкой и умницей с лицом брейгелевского мужичка и хрипловатым голосом – Гудрун, конечно,

не тянут на эпос, но и лирикой их не назвать.

Познакомились мы в 1992-м, когда я, учась в мюнхенском Гете-институте, искал себе квартиру. Спросили: какие предпочтения? Сказал: Швабинг (район, типа Монмартра), женщина (хозяйка), курю (я). Полистали предложения, вот, говорят: женщина – сдаст – студенту Гете-института, предпочтительно русскому, творческому, можно курящему, Швабинг.

Пришел, старинный особняк возле Английского сада, верхний этаж, мансарда, утро. В дверном проеме стоит она (или он, или оно, – это не сразу идентифицируется), в ночной рубаше набекрень, волосы – в неуверенном порыве ветра снизу, в руке – бокал красного. Смотрит на мою ладонь, на пальцы и говорит: да. Идет нетвердой походкой к столу, наливает второй бокал – мне.

Через пару дней нас уже сдуло из Мюнхена. Австрия, Италия, Франция, какие-то озера, яхты, горы, горящая карусель дней, кто ж это помнит теперь. Она, разве что. А тогда, перед тем, как сдуло, повел ее по магазинам – приодеть. Помню две пары туфель – голубые и зеленые, на левую, говорю, голубую, на правую – зеленую. Юбочные штаны в крупный горох, ч/б, блузу не помню, ремень, покрасил ее и постриг. Она скупо всплакнула и повязала косынку (хотя потом, годы спустя, стриглась именно так, у лучших парикмахеров).

Мне 33, весел, бессмертен, жонглирую звездами и собой, все возможно – и в прошлом, и в будущем. Она – лет на десять старше, но это по метрике, а на самом деле – черт его знает, сколько лет персонажам Брейгеля? Жизнь ее за год до нашей встречи слегла в кому: ее друг, с которым делила долгие годы, узнав, что у него рак, исчез на остров, без вести, встретить смерть без посредников. Я, в этом смысле, появился в ее жизни почти вовремя, вынул ее из этой комы. Отношения у нас сложились легкие дружеские, по жизненным ритмам – и бытовым, и шире – мы во многом были созвучны. Похоже, она тяготела к большему, чем дружба, и порой теребила эту неочевидную черту, но благодаря обоюдной смысленности и раскованности это особых осложнений у нас не вызывало.

Вообще, у нее была очень упругая мышца жизни, ни жира, ни пролежней. И стремительность. Цак-цак-цак, говорила она, показывая, как легко и быстро решается любая проблема. И в этом мы были схожи. Цак-цак-цак, поддразнивал я ее, называя так вместо имени. И учил английскому, сносным манерам и рисунку внимания при осмотре музеев. А она меня радовала всем остальным, которое, по преимуществу, было общим. А, вспомнил: радивость – вот это качество, ушедшее как-то на периферию жизни и языка. Радивость во всем – в мышлении, в жесте, в деле. Но легкая, стремительная, без занудства. Цак-цак-цак.

Да, перед тем, как нас сдуло из Мюнхена, был у нее день рожденья, на который ввалились в ее мансарду человек сто – из окрестных улиц, вся тамошняя богема и умеренно фрикующие бургеры (на следующий д.р. мы арендовали с ней пароход на альпийском озере, т.к. мансарда уже всех не вмещала).

И вот катим мы на ее фиате (была она не богата, но безоглядна, хотя и с прищуром, сводила концы, сдавая угол студентам и подрабатывая свободной журналисткой), нога в зеленой туфле заброшена на панель у лобового стекла, я вожу пальцем по карте. Это мы уже возвращаемся, и нас тормозят на границе Италии и Австрии, что-то там с визой моей, мол, надо вернуться в Милан и продлить, говорят пограничники, иначе в Австрию не въехать, – не помню уже подробности.

И вот распили мы бутылку вина с ней в нейтральной зоне между этими странами, и я говорю: давай въедем по какой-нибудь второстепенной дороге, смотрю в карту, вот она, неподалеку.

Подъезжаем, уже смеркается, а погранцов там еще больше, чем на главной дороге, и тишь, никого кроме нас. Слева альпийские горы взметены, справа – железнодорожный узел, залитый прожекторами, с десятком путей, за ними насыпь, а за ней тот самый погранпост, который мы покинули.

Я говорю: давай так – я перебегу и махну тебе рукой уже оттуда, с австрийской стороны, если меня не подстрелят по дороге, а ты тогда здесь проедешь, набросишь петлю и подхватишь меня там, в Австрии.

Бегу, переметываясь от столба к столбу, как под пулями, взобрался на насыпь, смотрю: я на нейтральной полосе, ошибся, въезд в Австрию – далеко впереди. Бегу назад, вернулся, говорю: знаешь, пойду-ка я через горы, часа три-четыре, думаю, займет, обогну границу поверху и спущусь, а ты поезжай – через пару километров остановись и жди, периодически помигивая фарами.

Выпили с ней еще на дорожку, стоим, я одеваюсь потеплей, напяливаю на себя и какие-то из ее вещей, беру фонарь, она будербродцы мне завернула, обнялись... и как раз в этот момент проезжает машина и высвечивает фарами этот погранпост, который оказался куда ближе, чем мы думали, и стоят там эти погранцы и смотрят на нас с большим интересом, обсуждая, видимо, и то, как я перебежал туда-сюда, и как переодеваюсь, рисуя пальцем путь через горы... Стоят, смотрят, и мы – на них, между нами шагов двадцать.

А давай, говорит она, просто сядем и просто тихо проедем сквозь них. Сели, едем, они расступились – цак-цак-цак – даже паспорта не спросили, провожают взглядом.

А потом, помню, рассказывал ей о Гурзуфе, приезжай, говорю, как-нибудь. Легкий такой, с юмором разговор, о том, о сем. И опять о Гурзуфе. В сентябре, говоришь, в начале? Да, говорю. Числа, скажем, 5-го? Ну, например, говорю. Самолет до Стамбула, а потом на корабле в Ялту? Да, говорю, еще ходит одна калоша на крыльях, набитая нашими челноками в семь этажей. Во! – обрадовалась, – то что нужно, экспириенс! И забыли об этом. Почти год прошел, я в Гурзуфе, начало сентября, и вдруг – среди ночи – вспомнил. Какого числа – пятого? Звоню в порт: ходит еще этот лапоть? Да, отвечают, прибыл, выгружаются. Да нет, думаю, бред, но еду в Ялту. Сидит на скамейке, машет мне бутылкой вина.

Историй с ней у меня тьма была. Вот вспомнил еще – в связи с Гурзуфом. Зима, ветер воет, безлюдье, свет отключен и отопленье, кукую в ватнике, благодать, читаю Флоренского, вслух разговариваю. И вдруг звонок в дверь. Человек, наш, передает сверток: вам из Германии, говорит, и исчезает. Разворачиваю: копченая макрель, одна, мерцает, тициановка! (Знала, что я люблю. Но не настолько ведь, чтобы передавать из Мюнхена в Крым – перекладными – месяц плыла рыбка!)

Гудрун... 20 лет прошло. Ничего не изменилось. Вчера звонила.

Бал

На венском бале в нач. 2000-х. Попал я туда с немецкой группой женского хора возраста осеннего разгула. Около 30 женщин. Их пригласили выступить. Каждая могла взять на бал одного кавалера. На весь хор нашлось двое – я и один затерявшийся в Германии новозеландский тенор. Пока добрались до Вены, весь хор был уже вдрабадан. Нам с тенором поручили раздобыть еще водки и как-то пронести ее во дворец. Уже проникнув внутрь вместе с шестью бутылками и блуждая в лабиринте коридоров, мы ткнулись в какую-то дверь и... ослепли. Это была гардеробная юных принцесс, открывавших бал, они спешно переодевались, готовясь к выходу. Две сотни ножек и рук мелькали в толчее и птичьим гомоне, вскидывая платья, примеривая короны. Какая-то дама-гусыня, указала нам на шкафчик, где, по ее мнению, стоило переодеться и нам. (...) На снимке это уже далеко позади, бал закончен, отдыхаем с хористками, тенор на дальнем плане.

Вопрос

Вот умирает на твоих глазах самый близкий тебе человек – любимый, единственный, последний. И все так разорено внутри, что кажется, тебя нет, и уже никогда не будет, контужены чувства, слепнет память, ты себе невыносим живой. И вот, в эти дни, когда

смерть (его и твоя) еще не остыла, ты отдаешься другому человеку – со странной, нарастающей страстью, возможно, переходящей в любовь. В эти же дни. Не слепо, без воя, не так, как затыкают рану в животе. Хотя, наверно, и это тоже. Но – с открытыми глазами, чуткой кожей, всем тем, что отличает живое чувство. Нет, ты не животное, и времени не прошло еще столько, чтобы как-то поутихло все это, затянулось завязью новой жизни. Значит, ты уже другой человек, твое прежнее имя стерто, и смерть не лежит в соседней комнате? Или не значит?

Этот вопрос возникает дважды – в двух фильмах Бертолуччи: "Под покровом небес" и "Последнее танго в Париже. В первом – это происходит с женщиной, во втором – с мужчиной.

И вот я думаю: может, я задаю этот вопрос из какой-то изначально неверной точки в себе – неверной по отношению к психологии этих двоих? Может, все проще, и речь идет о другом типе психики, поведения, характера, мне не вполне свойственных, и отсюда это мое затруднение в понимании?

Шаня, свидетельница Адама

На подъезде к Сергиеву Посаду есть остановка Лакораска. За маленьким спившимся поселком начинаются дачи. При входе – указатель: «Стрижки в сторожке». Наша облущенная завалуха (в крокодиловой коже) была крайняя к лесу. Облака зависали над ней, подымая ногу, все время лило. Там я и начал писать Адамов мост.

Из живности в этом унылом краю у нас было:

Morning – нептичка, с легким характером и упоительной речью, по утрам на веранде заглядывала в монитор, а потом в саду помогала посуду мыть.

Фирс – стоеросовый, еловый, с рукомойником на ноге.

Андрей – цветок, найденный посреди черного вспаханного поля, он лежал на спине, как Болконский, глядя в небо. Я принес его, посадил в саду, укрепил щепкой, он распрямился, ожил.

Хичкок – приходил по ночам, лязгал миской, сопел, требовал.

Шаня – брошенка, разгуливала по округе, наведывалась, не прикасалась к еде, не давалась в руки, но в глаза смотрела, когда писал, и исчезала.

Мальчик

Мальчик, я говорю себе, не сетуй, что никого нет рядом. Иначе бы этого не происходило. И еще: отойди от себя, так просто это не кончится. Было б куда.

Авось

Было это в конце 70-х, кажется. Приехал я к Вознесенскому в Переделкино, поздний вечер, темные окна, участок, заросший елями, а в глубине сада сидит девочка, ждет поэта. Познакомились, ей около 19-и, сверстница, москвичка, первокурсница Литературного. Вынула бутылку коньяка, прихлебывает, делится, зябнет. Поэта нет и когда будет неясно. Развел костерок, сидим.

Она с ним незнакома. У меня же к этому времени были уже довольно близкие отношения с ним. Еще мальчишкой я приехал из Киева к нему со школьной тетрадкой стихов и, проскользнув мимо консьержки, ждал, расположившись на этаже у квартиры. Он заскочил на несколько минут и помчался в аэропорт, прихватив меня. Всю дорогу в такси я мало что соображал, отвечая на его вопросы, что-то рассказывая, при этом глядя на него с блаженно идиотским выражением лица. И вот он спрашивает меня, например: «Ну как там ваш Драч?» О, говорю, драч у нас на слободке тот еще, смертный! А сам думаю: странно, с чего бы это его так интересовало. Ну и в таком духе едем мы в аэропорт. А потом я

получаю открытку из Антверпена, от него. А на ней факсимиле:

Милая, милая, что с тобой?

Мы эмигрировали в край чужой.

Ну что за город глухой, как чушки,
где прячут чувства.

А на обороте: «Дорогой Сережа, о стихах пока сказать трудно. В них есть порыв, но нужна еще и дактилоскопия только Вашей личности. С радостью вспоминаю Ваше милое лицо». Что-то еще там было, но примерно так, кажется. А потом мы уже часто виделись и еще чаще разговаривали по телефону. И я помню, когда работал уже реставратором в Почаевской Лавре, чуть ли не ежедневно спускался с лесов в обед и шел в красочной и пахучей робе в поселок на переговорный... И как-то со временем отношения наши стали едва ли не отцовско-сыновьями. А потом с его помощью появилась первая моя публикация – роман в стихах, и чуть позднее – его речь в мою защиту на каком-то предперестроечном съезде. Ну и не только, и не в этом, конечно, дело.

Так вот, сидим мы с этой девушкой во тьме, ждем. Ночная прохлада, костерок. Она уже хорошо во хмелю. И говорит: давай перейдем в дом. Это, говорит, по-московски вполне нормально, разве не знаешь? Я как-то посопротивлялся, недолго, правда, вскрыл форточку и отворил в окно. Она допила коньяк и легла в кровать поэта, а я включил настольную лампу и сижу за столом, листая книги. И не услышал, как они подъехали – он и Зоя Богуславская, и, заметив свет в окне, заглушили мотор. Хотели вызвать милицию, но передумали, входят, бесшумно, стоят в дверном проеме, переводят взгляд с моей спины на похрапывающую в кровати девушку. Медленно оборачиваюсь. Немая сцена.

Зоя отвозит нас на станцию, скоро первая электричка. Весь путь до станции – молча.

Ужас, слов не найти. Девушка едет в Москву, я остаюсь. Подбадривает на прощанье: да брось, все рассосется...

Да, эта ночь потом рассосалась, и даже со временем стала милой присказкой, Зоя ввела этот эпизод – под вымышленными именами – в свою повесть. А девушка – не связи, слава богу, с этой историей – выбросилась из окна, насмерть.

Круз

Значит, 14-палубный младенец, в утробе которого я нахожусь, называется «Коза Ностра», или что-то в этом роде. Капитана зовут Николантонио Паламбелло, сегодня в 17.45 он приглашает на мальтийский (поскольку завтра мы в Мальте) коктейль, форма одежды, видимо, масонская, придется надеть подвязки.

Утреннюю Грецию я проспал, переведя часы не в ту сторону. Но все же вышел на набережную потоптаться. Обведя взглядом, больше там, похоже, делать особенно нечего. А мог бы жить здесь, на Корфу, как Даррелл (старший) с домашним питомником говорящих евангелистов природы, и перечитывать Даррелла младшего – про любовь с Клеа. Вернулся на корабль, влез в джакузи, немцы идут, закутаные, палец суют, «Оооо» – поют.

Ночью в Триесте видел посреди площади памятник – величиной с дабл-Пушкина (на Тверской), весь обвит то ли музами, то ли вакханками (на снимке – одна из них, снизу, с пяток), освещен, голова гордо вскинута, вся в голубином помете, – кто такой неизвестно. Спрашиваю прохожих – никто не знает. Уж в азарт вошел, пытая. Наконец, старик один – долго вглядывался сквозь морозящий дождь: а, Россетти!

Покачивает, легкая волна, в ритме танго.

Нашел маленькую сауну на верхней, 14-й палубе, хожу туда – ни души. Сижу в небе, в покачивающейся сауне, а подо мной – театры, каюты, фортепианы и Паламбеллы, под которыми – дельфины во тьме поцокивают улыбками.

А вчера был Бари. Где мощи Николая Угодника покоятся. Зашел-вышел, не трогает. Разве что, строители под сводами хороши, в масках, чудотворцы. И вокруг хорошо: узкие

улучки, дождь, белье на веревках, накрытое полиэтиленом, макароны на керосинке у крыльца готовят, пар, запахи, а в окошках – Николка. У итальянцев, у всех. И скрипач на площади у храма наяривает под дождем, экскурсантов за рукав хватает, денежку просит. И старуха на крыльце голосит, развалившись.

Пойду кофе сварю, тут он круглосуточно и бесплатно – повсюду, но кофе – святое, ручная работа, с кипятивничком.

...

Мальта похожа на этот восход – со зрачком, глядящим из-под черного века. Снимки этого дня оказались точней слов, которые я пытался подобрать, бродя по этому городу и лишь повторяя овидиево о критском лабиринте, о каменщике Дедале: свой воспаленный мозг он высек в камне... Свет мутился сквозь замочные скважины улиц, дома стояли с плотно сжатыми ртами, проглотив ключи. Корабли замерли в небе, не касаясь этого острова с выжженным языком и проклятыми деревьями. Где ж еще мог возникнуть этот сновидческий остров-череп как не между Сицилией и Африкой.

...

Я в растерянности. Плыву по Средиземному на посудине размером в пол Монте-Карло. Смотрю с 12-го этажа вниз, а там – дух над водами. Спустился в свою каюту, а там нас десятеро, и все они – я, размноженные в зеркалах под разными углами. И окно во всю стену с плывущим морем. И кровать свадебная, и светильников – на городок хватит. Здесь бы любить – как говорила героиня Адамового моста – насмерть... Но кого же? 10 нас. Групповая автофилия.

Зашел в один из ресторанов: 727 блюд в меню, ешь хоть все 727, и столько раз в день, сколько хочешь – всё бесплатно.

Вышел на палубу: девочка стоит, солнце в море ложится, вот-вот скроется, дельфины плывут, фотографирует. Остановить? – спрашиваю. – Кого? – Солнце. – Да, – смеется. Разговариваем. Она из Нью-Йорка, 16, выглядит старше, пишет-рисует-дышит-танцует, тоска, говорит, эта их жизнь – карьера-семья-могила. Солнце ушло. Человек во фраке приблизился: можно, говорит, вас сфотографировать? Берет у нее камеру, мы поворачиваемся к нему лицом... Нет, говорит, спиной – как вы стояли. Такое счастье, говорит она, прощаясь, такое счастье вся эта жизнь – как это море. И обернувшись: а какая музыка подошла бы сейчас к этому морю? – Майлс Девис, говорю. Да, кивнула, Фрэнк Синатра.

В Барселоне встретился с Мартой Бинетти (аргентинской танцовщицей, о которой писал в фб). Мы не виделись 15 лет – с тех пор, как она покинула Мюнхен, где ей все же удалось подорвать некоторые его устои, в чем и я поучаствовал.

Живет она на Рамбле, почти в доме Гауди, за его спиной. Показывал ей наш альбом с Er. J Orchestra, очень воодушевилась, хочет приехать, вместе перформанс делать, потанцует, попоет, поимпровизируем...

Поразительно, почти не изменилась.

Не получилось выйти в интернет в Барселоне – загулялись с Мартой, едва успел на такси к поднимаемому трапу. Отправляю уже из Пальмы.

Проснулся: вот и Пальма. Тут приятель ждал меня с большой яхтой, да смс прислал, что срочно в Москву вылетел. К счастью, думаю, иначе сегодня уж точно к отходу не вернулся бы. Пришлось бы где-то в Валенсии догонять корабль.

Завтракал в другом ресторане, где самообслуживание, еды не 727 наименований, а буквально несметно. И вся летит в рот, как гоголевские галушки. Глаза у едоков вращаются все быстрее, и выползают эти вздувшиеся человеки на палубу, как ящеры острова Комодо – и в бассейн.

Обслуживающий персонал, которого здесь, кажется, не меньше, чем пассажиров, выплясывает перед каждым танцы народов мира, у каждого за плечами, похоже, цирковая школа. Может, у них и наказ такой – тормозить каждого всеми способами, чтоб не сдох от скуки.

Сегодня в мою каюту прорвался стюарт – караулил меня – взвинченный, горлающий что-то островитянское, сэр, кричит, я всю ночь думал о Вас, всю ночь! Много думал, и понял: вы не любите, чтобы подол одеяла был заправлен под матрац! – Тонкое наблюдение, говорю. – Да! – ликует, – и оставил его незаправленным!

Надо бы каюту сфотографировать с этими инцестуальными зеркалами. Да и корабль хорошо бы. Потом. (У Еременко где-то было «броненосец «Потом»). Пойду на берег высажусь. Тут цаки выдают, чтоб потом признать возвращенцев.

На корабле в основном средиземноморцы и американцы, русских и немцев пока, благо, не видел.

А лифты тут фирмы Шиндлер.

Всё, пошел к майорке, под пальму.

А вчера к ночи было забавно – вдруг забыл номер своей каюты, подхожу, вставил карточку, не открывается... А, думаю, не 3058, а 3558, нашел, а там в двери записка: просьба не беспокоить! Ну всё, думаю, приплыли – мало того, что нас в каюте десятеро, так еще и не беспокоить ни одного из них, чем же они (я) занимаются?!

Вспомнил, как отец меня, шестилетнего, пытался в школу определить. Только, уговаривал меня по до дороге, не пой, умоляю, и стихи – попроще читай, если попросят. И вот входим к директору, ну, мальчик, какой стишок ты нам расскажешь? Уильям Блейк, говорю (нет, другой британец, выпало сейчас его имя) – "Морская лихорадка". И начинаю: "Опять меня тянет в море, где небо кругом и вода, мне нужен только высокий корабль и в небе одна звезда..." Ну потом я, конечно, не удержался и спел ей (точней – проорал) эту душераздирающую телегу про ишака: "Мы купили ишака – и! – а! – за четыре пятака – и! – а! – захотелось ишаку – и! – у! – переплыть Москву-реку..." Длинная песнь, почти Илиада.

В школу меня, конечно, не взяли.

Но с тех пор я с ослами в дружбе, а теперь еще и на корабле высоком.

Брошюрка

Мама вчера протягивает мне брошюрку: это твоя? К брошюрке этой я вернусь чуть ниже, а пока нужно кое-что рассказать, припомнить.

Жил в Киеве русский поэт Леонид Вышеславский, лауреат премий, член президиума, тот, чей сонет летал во рту Гагарина в космос. Положение его в тогдашней Украине было двояким. С одной стороны, официальная фигура №1 со всем полем почестей и возможностей, с другой, крайне подневольное положение – в том общем холуйном режиме страны и в ее отношении к русскоязычной литературе как содержанке и падчерице в частности. Всё это он хорошо понимал, а при том, что сердце у него было добрым, а порой отчаянно добрым, проходить меж двумя этими полюсами и совершать самостоятельные поступки было ему непросто, однако в критические минуты он это делал.

1978 год, мне было 19, я работал в бригаде художников-реставраторов настенной живописи в церквях Киева и Украины. Написал поэму, которую хитро, учитывая цензуру, назвал как производственную: "Я работаю". Сейчас даже нам, кто помнит это время, трудно представить ту жалкую абсурдную меру свободы, позволяемую в печати. Напр. слово "храм", "церковь" просто вычеркивалось цензурой – даже употребленные в нейтральном смысле – как сооружение. Не говоря уж о слове "Бог". Я помню, в эту же пору Андрей Вознесенский, даря мне свою книгу, авторучкой поправил в программном своем тексте, давшем название этой книге, "Ностальгия по настоящему" – по настоящему, даже ему и даже такие безобидные вещи не удавалось отстоять. В этом смысле поэма моя выглядела отъявленно антисоветской и вопиюще непечатной. Вся она происходила в храме, где я реставрировал Бога, время, речь, память, и вообще все то, что потемнело под грязью и уже едва различимо. Начиналась она так:

"Я работаю в храме Рождества Богородицы,
сквозь разбитые стекла – как весла лучи,
я не ангел в библейской спецовке,
просто делаю то, что меня научили:
реставрирую сердце Михаила Архангела..."

Ну и т.д., с перекурами. Но главное было не словах, а в той молодой безбашенной свободе формы, интонации – совершенно не от мира того, цензурного. И вот эту поэму Вышеславский добивается опубликовать со своим предисловием в самом махровом и подневольном, единственном русскоязычном журнале "Радуга". И публикует.

Второй случай еще более удивительный. Прошло несколько лет. Моя первая книжка стихов уже годы лежит в комсомольском издательстве "Молодь". Каждый год ее аннотируют, магазины собирают какое-то немыслимое количество заказов (настолько, что именитые украинские письменники просят меня посодействовать, что бы и их книги хоть как-то заказывали, думая, что у меня там всюду "свои люди"), но выход ее всякий раз переносится на следующий год. Заведующая редакцией поэзии – Любовь Голота. Над ней начальник с еще более красноречивой фамилией Затулывитер (заслони ветер). Ее книгу, вообще бы не рассматривали, если бы не заступничество из Москвы (Вознесенский и др.) и Киева – Вышеславский и вроде бы первых лиц украинской официальной литературы – Драч, Олейник, Мовчан... (Вознесенский – в первую мою встречу с ним, оборачиваясь в такси ко мне: ну как там, Сережа, в Киеве, как там Драч? – О, – говорю, понятия не имея о такой фамилии, – драч у нас на слободке тот еще! – и рассказываю ему в подробностях).

Так вот, в какой-то день, когда уже совсем стало неважно от этих кафкианских коридоров вокруг книги, я – уж не знаю, как это у меня получилось – собрал в Союзе писателей весь генералитет их, напрямую или косвенно связанный с подобными решениями. (Вообще тогда я думал и вел себя так, что это моя страна, моя культура, мой дом, и вся так называемая власть имеет тут не большее право решать, как жить, чем я.) Перед тем поговорив с ними (по одному), что, мол, может, хватит говорить мне одно, кивая при этом на "непреодолимые обстоятельства" в сторону "Замка", а давайте соберем весь этот Замок со всеми его обстоятельствами в одной комнате, чтобы некуда было кивать, и наконец решим в отношении книги, пусть будет "нет", но ясное.

Не понимаю, как это произошло, но все они собрались. Человек 15-20. И потекли политкорректные иезуитские словеса. В торжественном зале Союза писателей тогдашней Украины. Начав на украинском и перейдя на русский. Так длилось, пока не встал Вышеславский. То, что он говорил, эти стены наверняка еще не слышали. В гробовой тишине. После такого, казалось, ни о своем членстве в президиуме, ни вообще в сообществе – и не только писательском – уже речи не могло и быть. Голота вылетела из зала, хлопнув дверью. Драч сидел, обхватив опущенную голову руками. Сам Вышеславский был, похоже, близок к сердечному срыву. Это был отчаянно сильный поступок. Другое дело, что ни к чему, вопреки ожиданиям, это не привело. Промоина в болоте без труда затянулась. Книга еще через неск. лет все же была выпущена. Точнее, не книга, а узник концлагеря, едва узнаваемый.

И вот мы возвращаемся к брошюрке. 90-е годы. Я издаю в Киеве негзету "Ковчег", приходит Вышеславский, мы много лет не виделись, ему под 80. Он хотел бы издать маленькую книжку свою. Нет денег, вообще ничего нет от того мира, в котором мы еще недавно жили. На издание нужно 50 долларов, тогда это примерно было месячной зарплатой, чуть выше средней. Я нахожу эту сумму, звоню ему, предлагая завезти ему в конце недели, поскольку меня нет в городе, но деньги есть, лежат дома – у мамы. На левом берегу, у черта на куличках. Он вызывается приехать. И вот они сидят с мамой, чаевничают, он дарит ей эту тихую брошюрку Запорожского университета о его поэзии, подписывая: "Глубокоуважаемой Майе Львовне – матери веселого хозяина на великом пиршестве бракосочетания слов".

Через несколько лет его не стало. Старика избивали какие-то уличные подонки.

Рим за шесть неторопливых часов

Конечно, и только потому, что с Сашей Сергиевским. Лингвист, историк, переводчик, москвич, гражданин Рима, живущий в нем уже 20 лет и знающий его как мало кто из коренных римлян...

Нет, конечно, не только поэтому, а еще и единый круг, к которому мы принадлежали, единый язык и та скорость ассоциаций, которую Набоков и называл культурой, – это и позволяло нам двигаться между и поверх шаркающих слов и срезать углы между зрением и видением.

Как ни парадоксально, за почти 25 лет, в течение которых не виделись, мы стали не дальше, а ближе, и это с удивительной чуткостью и как-то совсем по родному обнаружилось с первых же минут. А через полчаса мы уже сидели в кафешке у Колизея (а лучше бы – с двумя «л») и дивились тому, что Рим вымер – ни людей, ни машин. И потом, уже обойдя весь старый город, где обычно толпа плывет в три этажа, Саша признался, что такого он не видел за все 20 лет. Ну да, суббота, жара, горожане за городом, но где туристы? Были, но совсем не много.

То есть даже не шесть часов – два из них мы просидели в таверне за Тибром, на острове. И говорили о своем, о нашем – об Алеше Паршикове, о Москве, Риме и Индии.

Из неизвестного известного о Риме меня привлекли три момента.

1. Квартирка Клеопатры, которую ей снимал Цезарь в жилом квартале, и откуда она бежала после его гибели. (А сам он жил в квартале магов, проституток и нищих интеллектуалов – по ту сторону стены, за которую благородные граждане не хаживали).
2. 6-8-этажные дома, в которые римляне жили в начале эры (мы перешли в них лишь после Хрущева). А туалеты горожане по-прежнему выносят глухим балкончиком, прилепленным к фасаду – это на каждом шагу в «старом фонде». И главное: не строится ничего нового, а пере-до-при-у-страивается из старого – дома, как палимпсесты.
3. Колонна Траяна. Она «спелената» барельефами, изображающими его войны с даками. Ювелирные миниатюры, «бинтующие» всю колонну, уходящую на 50 м. вверх. Понятно, что в те времена невооруженному глазу были доступны лишь нижние 3-4 метра. Для кого ж этот изысканный бисер, текущий в небо на протяжении 45 метров? Для неба? Вот так и надо писать – на девять десятых ни для кого, с такой же, если не большей самоотдачей, чем нижняя десятая. И не потому, что почти две тыщи лет спустя влезли и разглядели.

На спине

Проснулся сегодня и вспомнилась одна история, из крымских, вроде бы ничего особенного, одна из многих. Но вот ходит за мной весь день, как собака. Выйду в дворик покурить, и она за мной, ляжет у ног, чуть отвернувшись, голову на лапы положит, вернусь, и она за мной. Так и хожу с ней, как дама с собачкой. Как бы мне рассказать ее в двух словах, не отвлекаясь на все то, без чего, казалось бы, и не будет ее, стоит лишь умолчать. И все же попробую.

Вот бывает такое: подходит человек утром к окну, смотрит и не понимает, что он тут делает и зачем, и вот он, назовем его Антон, уже на вокзале и садится в поезд, и ему все еще непонятно это «что и зачем», а он уже едет в Крым, например, из Москвы, и в купе входит девушка Алена с точно такой же историей этого дня. А по дороге, на одной из станций, скажем, в Туле, к ним подсаживается Наталья – из этих же «совпадений». А тем временем в Киеве в поезд садятся двое парней – Вова и Лёха – странно, но тоже из этих же. И вот эти пятеро по какому-то наитию оказываются в Гурзуфе и сходятся у калитки дома №13 по улице Крымская, где живет высокий ладный человек с тихой, чуть застенчивой улыбкой. Я сижу с ним в тени инжира, мы смотрим на море, вино на столе, виноград. Конец сентября, когда Крым, после летнего сна, наконец, возвращается в свои

очертания и, как женщина у зеркала, вглядывается в себя, в свою близь – как в дальнюю даль глядят.

И вот они входят во двор, эти пятеро, спрашивают, можно ли снять жилье на пару дней. И начинается неизъяснимое: дни, недели, месяцы, а мы все не расстаемся ни на минуту, и на чем это держится не понять. Ни пространства, ни времени, ни самих нас по отдельности нет. Лишь бескрайнее и такое же прозрачное, как воздух, счастье – жить, быть – вместе. И мы без конца идем в какие-то горы, пещерные города, возвращаемся, и снова уходим, и пьем, не пьянея, в огне не горим и на скалах отвесных во тьме не падаем, сошлись и расстаться не можем.

Скоро зима, и вот остается нас четверо: Вова, Лёха, Наталья и я. Она идет по поселку, сняв легонький свитерок, который носит на голое, и пританцовывает, развихривая его над головой. У нее с Вовой любовь.

В один из дней они, наконец, отпрашиваются в Киев – за родительским благословеньем. На следующий день к вечеру он возвращается. Говорит: «Сели в вагон, вышел купить еду, поезд тронулся, я не успел... Шел пешком сюда из Симферополя, ночевал на обочине...» Ни жив, ни мертв сидит. Телефонов мобильных тогда еще не было. А адрес твой у нее есть, спрашиваю. Да, говорит. Ну так звони домой, что же ты тянешь? Звонит. Мать отвечает, что она приходила, уже ушла – на вокзал.

Я набираю справочное киевского вокзала, здравствуйте, говорю, я... И тут начинается то, что сейчас я уже восстановить в памяти не могу, а сочинять не хочется. Длился этот разговор, наверное, около получаса. Я говорил не смолкая, не зная «куда и зачем», говорил о Крыме, об этой встрече, об осени, о бог знает чем, о Данте и Беатриче, я просил ее, эту незнакомую женщину, находившуюся за тысячу километров, за стеклом, на киевском вокзале, просил ее объявить по громкой связи для Наташи, которая, наверное, где-то там сейчас, стоит в очереди за билетом в Тулу, сказать ей, что Вова любит ее, что он найдет ее и будет им счастье...

И эта дежурная в справочной, Лида ее звали, поначалу едва не бросившая трубку, отвечает все менее резко, и вот притихла совсем, и вдруг слышу – тихонько всхлипывает, а я все говорю и говорю, и она робко так, с еле слышной горечью и надеждой: «да... да, и у меня было... в жизни... но нельзя ведь, меня уволят... нет, я скажу... ну и пусть... потому что нет ничего дороже, да?» И всхлипывает. Сейчас, говорит, соберусь и скажу, не кладите трубку.

А Вова сидит в углу, обхватив ладонями голову, сжался весь и дрожит: нет, не надо, шепчет, не надо...

И тут я слышу: «Наталья... – голос, чуть изменившийся, взволнованный – по громкой связи, на весь вокзал, – ... я люблю тебя". И мне кажется, вижу, как толпа вокзальная вдруг стихла, замерла. И девочка в свитерке у окошка кассы медленно оборачивается, не веря, не понимая, "куда, зачем?"...

А потом, что ли год спустя, я приехал в Москву и зашел к Антону – тому, первому, с которого все началось. Посидели, вспоминая. С Лёхой, как он слышал, что-то случилось, ушел из дому, зиму провел у Днепра, глядя в костер. А та девочка, Алена, с которой вернулся в Москву, теперь в Одессе, вышла замуж. Нет, о Вове ничего не известно. А почему бы не съездить к Натахе в Тулу, а? Просто приехать и позвонить в дверь.

И был день, и мы втроем где-то в пригороде, на берегу реки: тишь, запах хвои, лежим, прикрываясь ладонью от солнца, и смотрим, как с высокого полуразрушенного моста кто-то все время прыгает и летит на резинке, и, не долетая до воды, возвращается, крохотный, как брелок...

А потом какой-то бар, ночь, и я просыпаюсь в ее голой комнатке: мы лежим втроем, она между нами, на спине, глаза открыты, и тихо так – то ли мне, то ли не видя меня, шепчет: «... как черепашка, на спине... вся жизнь... и не перевернуться...»

На полях

Что нужно, чтобы хоть отчасти приблизиться к слову, письму? И вообще – к реальности. От бога – понятно – допуск, "искра". А от человека? Опыт беды ("возжечь беду", Введенский)? Да, но и, что случается куда реже, опыт счастья – тот, настоящий, в котором трудно уцелеть. И путь предельной единичности – не в смысле избранности, а той, которой не на что опереться, с подвешенным в себе "человеком". Пишущие не спасутся.

Гульпен

Ходил сегодня в деревню за хлебом. Потому как хлеба в Голландии нет, есть нарезные тряпки, типа влажных салфеток цвета раскисшей грунтовой дороги. Последняя надежда была на булочную 1900 г.р. в центре этой деревни по имени Гульпен.

О радость – лежит – буханочка! Беру и спрашиваю у милой конопатой продавщицы: а где тут у вас кладбище? Вслед за этим вся булочная минут десять шумно припоминала, где оно у них. Американское? – переспрашивали. Нет, говорю, отечественное, старое. То, где башня 11 века. Башня? – изумлялась очередь.

Наконец, пришел я с буханкой на кладбище. Ничего особенного – башня невыразительна, могилы тоже, древней, чем сер. 19 века, захоронений нет.

На обратном пути, идя через поле, разговорился с лошадьми. Две. Подошли. Не дают фотографировать – льнут, в лицо тычутся. Поел с ними хлеба. Чудесен, а! Кивают ошалело. Несколько снимков, по-моему, совершенно хороши.

Сейчас сижу в бунгало, пишу, а в окне три цапли расхаживают – в пеньюарах. Туман.

Поле

Откуда эти беженцы из территорий «я» под флагом поисков нового языка, новой оптики? Оттого ли, что «я» не отвечает на вызов, не держит удар? Самостояние не держит, мышление, вменяемая связь слов? Не держит. Особенно после тех, кто держал. А реальность держит? Может, дело не в кризисе «я», а в тех, кто сейчас в поле?

Воскресенье

В этот небесный день я хочу вспомнить об одном близком мне человеке. Его уже нет в живых. А началось всё в 1981 году, когда в "Литературной учебе" (где годом спустя появятся "Новогодние строчки" Алеши Парщикова, а затем "Ода" Ильи Кутика) был опубликован мой роман в стихах "На фоне неба и во всю длину". Жил я в Киеве, мне было 22, это было первой моей публикацией. И вот – вдруг – хлынул поток писем со всей страны. Почтальонша складывала их на лестничной площадке, поскольку все это в ящик не вмещалось. А полугодом спустя пришел пакет из Новосибирска, в нем письмо на 40 страниц от руки и метровая афиша Новосибирской филармонии, где в первом отделении значился Уитмен, Рильке и, кажется, Лорка, а во втором – этот мой роман в стихах. Этот годовой абонемент читал автор письма – Виктор Семдянкин. Те, кто помнит эти годы, могут себе представить, насколько этот случай невероятен... Я подумал, с чем бы это сравнить по нынешним временам. И не могу придумать. Сейчас, конечно, я с неловкой улыбкой вспоминаю этот "роман", но тогда это было одним из первых появлений другой литературы и другого, нашего, поколения, которое дальше кухонь в публичном

пространстве не выходило. Потом, на протяжении 30 лет, я не раз менял свою жизнь, письмо, уходил из литературы и возвращался, менялся круг друзей, читателей, ожиданий, а этот человек неизменно был внутренне рядом. И продолжал писать письма, ради которых стоило жить. Несколько раз мы виделись. Потом он потерял сына, жену, работу. И единственное, что оставалось всегда с ним – вера в меня и любовь – внимательная и по-сибирски надежная. Он и умер, читая стихи – вдруг, тихо, дома – разрывом аорты. И это был год длиною в два, когда ушли из моей жизни самые близкие – отец, он, Алеша Парщиков... Ушла Индия и Москва. В эту же пору прервалась жизнь с женщиной, которая неожиданно стала большей частью меня.

Держись, Витя. Там. И я постараюсь. Здесь.

Оглянулся

Полтора года меня не было на земле. Почти не было. Полтора года непрерывного письма. Открыл папку, ужаснулся: более трехсот стихотворений написано. Ежедневно, все световые дни напролет – у экрана. За исключением нескольких кратких отлучек. При том, что ни дома, ни семьи, ни службы, ни работы, ни проектов, ни путешествий, ни каких-либо связей с внешним миром, кроме фб. То есть по тексту в день, ежедневно, учитывая, что некоторые требовали и двадцать-тридцать часов работы. И не считая переводов Джойса и разных др. текстов. И без пресловутого "опьянения вдохновеньем", спокойная последовательная путевая работа, сродни экспедиционной. Внешне. С предельным напряжением сил. Не знаю, были ли такие случаи. Прозу, да, можно писать в таком режиме, да и то не всякую. Странно еще и то, что, казалось, к стихам уже не вернусь. После романа "Адамов мост", который писался семь лет – примерно в таком же режиме. И думал об этом спокойно, потому что в этой книге, по внутреннему ощущению, сбылось всё, ради чего я вообще жил-был. Беспокоило немного только будущее – чем его занять. И вот проходит где-то полгода и вдруг на полях дней возникает что-то вроде стихотворения, ничего вроде не обещающее в смысле продолжения... И всё. Голову я поднял лишь сейчас, полтора года спустя. И вот еще странно: я почти десять лет перед этим не писал стихов, но и тот островок был маленьким – пару десятков текстов, а перед тем – еще десять лет стихов не писал. И вообще со стихами было всё как-то неясно: будто писали их в разные периоды жизни разные, порой незнакомые друг с другом люди, и кто из них кто, и где из них я – вопрос, который вился за мной все годы, пока я не махнул на него рукой. И вот к пятидесяти годам они все сошлись и срослись в Адамов мост. Казалось, уже не просящий никаких слов после... Тут-то меня и подгадало. Дивны дела твои, Господи. С Новым годом Тебя.

Джойс, Нора

Позволю-ка я себе минутную нескромность и скажу вот что. Думаю, что с выходом этой книжечки, размером с ладонь 2-летнего ребенка, «Джойс, Нора» – кое-что в литературе и языке произошло.

Казалось бы, именно наш, русский, как мало какой другой язык был расположен к этому, потому что эрос, близость, секс или как это не назови – прежде всего и по сути – синтаксис, а не морфология, не лексика. И именно синтаксисом наш язык, как не один, свально божественно грешен.

Странно же, что такой язык до сих пор в поэзии и, в меньшей степени, но и в прозе оставлял эту местность, не менее важную, чем бог, смерть, разум и пр., почти нехоженой. И не надо про Баркова, Пушкина, Набокова и др. – это все же о другом, вернее, об окрестностях – гусарских ли, веселых или чувственных, но деликатно «остраненных». Дело ведь не столько в проблеме обценной лексики или ханжеских эвфемизмах разной степени художественной изобретательности (хотя и в этом тоже).

И вот что удивительно: надо ж было, чтоб черт-те где от нас и лишь в нач. XX века появился Джойс, написавший эти частные интимные письма, никакого отношения ни к нам, ни к художественной литературе, ни к языку нашему не имеющие, да и этически накладывающие табу на руку протянутую к ним. И вдруг – через сто лет, сейчас, въехав в наш язык, как троянский коник, эти письма становятся поводом для этой песни песней. Не дивно ли: Джойс, поющий на русском лишение девственности языка, его безудержно радостный затяжной оргазм. Притом, что ничего подобного он, Джойс, вовсе не делал и не собирался.

Да, конечно, тут еще какие-то дивные совпадения, частные, которых, наверное, могло бы и не быть и, возможно, это никак бы не повлияло на возникновение этой книжки, но вот почему-то всё это так выстроилось. Вот человек вроде меня вдруг ни с того ни сего летит с женщиной вроде Норы в Триест, и вовсе не думая о Джойсе, а лишь потому, что оттуда отправляется корабль на Мальту... И вот у них там, в Триесте оказываются несколько дней, и они занимаются примерно тем же, что описано в джойсовских письмах. И вообще, все, что там описано, очень ему известно и не раз прожито – вплоть до вот такой оргастически изнуряющей переписки. И еще он вспоминает, как однажды с изумлением прочел о себе в википедии, что «в 80-х ему, похоже, принадлежала пальма первенства в эротической поэзии». Ни в какой мере я себя так не воспринимал, и территория эта была просто одной из, наряду с другими, просто, может, в силу тогдашней (признаться, отчасти и нынешней) открытой витальности и телесности отношения к жизни и к письму... ну в общем, понятно. Минута нескромности истекла. Здравствуй, книжечка!

Касис

Маленький курортный городок на Лазурном берегу – похоже, один из самых, облюбованный французами с достатком, белыми, хотя и в 20 км от Марселя. Крымский ландшафт. Утес – тоже "самый" – высокий во Франции. Он меняет кожу трижды на дню – от разбеленной сиены до красной охры. День тут начинают с поедания мидий, их выносят в иссиня-черных трехлитровых кастрюлях и ставят на снежные скатерти, дальше – медленный танец рук и губ, с обсасыванием. Я мидий не едок – это единственное, что кто-то внутри меня не переносит – до тошноты.

(Помню, как приехал ко мне в Мюнхен Алеша Парщиков, мы долго не виделись, нам было о чем поговорить, ждали этого дня. И вот в первый день мы пошли в известный Музей техники – поздно, перед закрытием, выбрали зал оптики, там было две двери, каждый шагнул за свой черный занавес и ухнул в оптическую западню: 12 Парщиковых, глядящих друг на друга под углом крайнего отчуждения – у него, и столько же Соловьевых у меня. Вышли, не проронив ни слова. Долгое время спустя, Алеша сказал: "И с этим человеком я жил, спал под одним одеялом, любил женщин?!.."
А наутро мы ели мидии в харчевне у реки, думая, вот теперь уж побродим, поговорим... Весь день я блевал, обнимая деревья, так мы и шли через город – все 24 человека... И разъехались).

Так вот, после кастрюльного трехлика, французы делятся на два потока: один тянется на пляж, где достает тормозки и очень по-нашенски, под яростным солнцем, наворачивает из плосек, кто чем запасся, запивая местным вином. А второй поток садится на катера и отправляется к "каланкам" – длинным красивым затокам среди высоких известковых скал. Потом оба потока сливаются на набережной в очередях за мороженым – съедаются тонны (Касис – звучит как "черная смородина" – отъявленный сорт здешнего мороженого, цвета той же кастрюли).

Ну и к вечеру – снова мидии и огромные подносы с морскими царевнами при свечах. А над городком – замок, светится по ночам. И нет дорог к нему.

Сегодня утром переехали в другую квартиру – упоительную, по сравнению с прежней – просто прекрасной. Та утопала в садах и цикадах (кстати, с одной я тут разговаривал, крупная – как три наших, глазела на меня слепыми буркалами Тересия и не выдала тайны происхождения. А они ведь, мамочки, роняют своих детей с веток, и те, в пренатальном еще, падают оземь, и там, пробуждаясь гусеницами, уходят в землю на годы, бродят по черным садам айда, а потом восходят к свету, окукливаясь, превращаясь в цикад, и взлетают, чтобы прожить ровно лето и ронять детей с веток, немые, под оглушительный хор мужчин).

Та – в цветах и цикадах была, над гаванью, а эта – на тихонькой узкой мощеной улочке Сан Клэр, на расстоянии полета бумажного самолетика, летящего с нашей веранды и ложащегося на море. С веранды – 200 градусов обзор – горы-море-горы, и в зрачке – яхты плывут.

А квартира в двух уровнях, с витой лестницей между ними, чудесная, не нафуфыренный гламур, а старое голое дерево и белизна стен. Дому – около 200 лет. Но главное – мансарда. И веранда, и черепица крыш... И шкафчик расписной, глубокоуважаемый, чеховский.

А вчера с восходом луны белые барабанщики – неисчислимым числом – двинулись к морю с гор – и скрылись в нем.

Гравитация

Подумал, чему бы я мог научить? А ничему. Уже ничему. Ни в литературе, ни в жизни. Есть такая сумма опыта, энергий на разных полях того и другого, которая в какой-то момент выводит тебя за пределы значимости их "гравитации". Вообще какой-либо значимости, если говорить о литературе, традиций, школ, стилей, задач, целей, контекстуальных связей, групповых эстетик и прагматик, границ, трансгрессий и т.д. Примерно то же происходит – не страшно сказать – и с жизнью.

Это вовсе не значит, что ты выброшен на какие-то божественные высоты и уж тем более застрахован от ошибок и провалов. Нет, конечно. Просто путь твой приобретает очень – сказал бы "личный" характер, если бы значимость не теряло и это.

Чему ж тут учить, когда вот так "пойман в своей свободе"? Одно из условий которой – не знать. Чему ж тут учить.

Но есть, если отвлечься от этого "перехода звукового барьера" и другая история, менее радикальная. Где эти привязки, эта зависимость от перечисленного выше снижена. И в жизни, и в искусстве есть оседлые фигуры, и есть номады. У одних – огород, соседи и почтовый ящик на заборе. У других – соответственно.

Ум за разум

А что значит "ум за разум зашел"?

Если ум – наше, здешнее, злаковое, культивируемое. А разум, если верить мудрецам – не от мира сего. (Гераклит: Разум вне нас. Или Дэвид Бом, физик-нобелиат, беседа с Кришнамурти: Ну не может же разум не иметь никакого отношения к мысли!

Кришнамурти: Разве?)

Не заходит ли ум за разум, когда первый становится между тобой и разумом на манер затмения?

Но тогда звучало бы наоборот: разум за ум.

А так, выходит, светит чистый разум безумия.

Любопытно, что в русском языке сумасшествие, безумие связано с утратой ума, а в украинском со свободой от бога – божевілля.

Севи́лья

Умопомрачительная история, сродни затяжному оргазму. Это Севи́лья, по сторонам этого дома – две улочки: одна (дальняя) называется Жизнь, другая – Смерть.

История такая. В 15 веке крещеный еврей Диего Сусон готовил восстание за права евреев в этих землях. Его дочь, прекраснейшая Сусонна, и католик Христиан любили друг друга, она проговорила ему о предстоящем, тот, принадлежа к знати города, предупредил мэра. Заговорщики были повешены (вместе с отцом Сусонны), она ушла в монастырь и завещала после смерти повесить свою голову на двери дома. Что и было исполнено, а когда голова истлела, ее заменили лампадой, улицу назвали улицей Смерти, теперь на ее доме барельеф с надписью.

А в магазинчике между улицей Жизни и Смерти работает киргизка по имени Раушана. На мой вопрос о том, кто живет в этом здании между улицами и не так ли оно внутри устроено, что комнаты, принадлежа одним хозяевам, выходят окнами и на смерть, и на жизнь, или делятся на жильцов Жизни и жильцов Смерти, сказала, что вон там, на втором этаже (Смерти) с окном на площадь, живет старуха, ей лет 80, и она всякий раз, когда подходит экскурсия, распахивает окно и несет проклятья на головы экскурсоводов, крича, что она их всех переживет, что у нее месячные еще не кончились.

За сим откланиваюсь.

Севи́лья, дальше.

Здание Архива Индий, то есть Америк. Строилось в то самое время, когда в городе жил комиссар по продовольственным закупкам и займам, почти мытарь Мигель Сервантес. Это самые темные для биографов его 5-10 лет. Пару раз он, 50-летний, оказывался в тюрьме. После этого севи́льского периода этот писатель-неудачник публикует первую главу Дон Кихота. В Архиве Индий – 9 км. полок, 80 млн. страниц документов, в т.ч., дневник Колумба, прошение Сервантеса о соискании какой-ниб. должности в Америке и пр. И ни души.

У двери

В общем-то говорить уже было не о чем. То есть было, конечно, но что уж – всё по тем же кругам. Так и топтались у двери, чуть виновато подбадривая друг друга. Прощание с умом затянулось.

«Дар смерти»

Вчера получил в личку вот это. От незнакомого человека. Пишет, что купил в Керчи в 1990-х. Это моя первая поэтическая книжка, с дивной страннической судьбой, гуляла по стране в те годы, всплывала потом где-то в сибирях и пустынях. Хотя издалась небольшим тиражом в Крыму и легла лишь в местные магазины. Набиралась она какой-то дояркой, бывшей наборщицей – под Белогорском. Куда я с редактором возил тяжелый портфель свинцовой латыни, которая там, в Белогорске, не росла. Для милых инкрустаций в некоторых текстах. 150 страниц мелкого шрифта исполнявшего пляску Витта. Я помню, как слал эту книжку своим друзьям – в Москву, Питер и др., представляя, как они вынимают из почтовых ящиков это "дар". Помню, как Володя Салимон позвонил мне, говоря, что ж я испытываю так его сердце, что в первые секунды его мог и инфаркт хватить. А я ездил из Гурзуфа в Ялту и торговал там книжкой – на хлеб для малыша той женщины с которой жил тогда. Конечно, оглядываясь, мы разные – там, в книжке, целый народ меня, боевой и кипучий, на алхимических полях лучезарного ада, я по сравнению с

ним теперь – перс на льдине).

И какой-то стигмат проступил на носу на фотографии – видно, от долгого хранения.

Вена

Это запись моего недавнего вечера в Вене в галерее Overground на "Венских чтениях". Об Индии. Вернее, два фрагмента вечера, больше не записалось: начало и фрагмент перед концом. Причем второй записан без головы. Что и хорошо, сказали бы индусы, поскольку мир (майя) – головная боль без головы. Жаль, что середина не записалась, там я, кажется, пытался что-то важное сказать – о смысле. То есть не жаль, конечно, а слава богу, потому что попытки смысла – заминки вкуса, чтоб не сказать – жизни. Ну вот, людям, говорят, понравилось, и я рад.

Светляки

Посмотрел фильм про светлячков. Ужас. Мерцающая тьма, тысячи светлячков, несколько видов (народов), говорящих на своем световом языке. Самки подзывают самцов на любовь особой световой фразой. И чередуют это со сменой языка, подзывая самцов другого вида. Те спешат на свидание, и самочки их сжирают. И опять меняют язык, полиглоты, на родной. Звездное небо, красота ходуном ходит.

Так прекратилось существование искусств

Я умер. Гомерически умер. Так умер, что уже, наверное, никогда. Нет, ну надо же! Лучшее, что могло быть написано обо мне. И не мудрено, что написано не человеком. Этот прекрасный сдвиг сетевого разума найден на задворках Интернета, где предлагалось скачать одну из моих книг в обмен на ваш мобильный номер.

Прошу потомков разместить этот текст на моем могильном камне. Всё равно лучше никто не скажет.

"Волоокий Сергей Соловьёв, проживающий на крымской вилле среди ланей и павлинов, пишущий о любви так, как если бы то ... Стихи. — М.: Московский рабочий, 1990. ... Рецензия на книгу Сергея Соловьёва «Крымский диван». Вплоть до элементов потока сознания 2002), «Amort: Роман» ничего не изменилось : «Медленные книги», 2015 Соловьёва. Учился на Сергей Соловьёв – открыватель: даже географические выставки в Германии, США, Чехии и др. Рубеже 1980-90-х гг Сергей Владимирович Соловьёв родился в в этом смысле за последние пять тысяч лет. Проза Соловьёва характеризуется превалированием стилистических задач над сюжетными книг поэзии и поэтической прозы, в том числе. «Фигура времени» Как писал С М Соловьёв писал: знакомой оленихе 9 января 1959, Киев) — поэт. Проживающий на крымской вилле среди ланей и павлинов, Тот же путь и те же задачи, которые. Который по-прежнему и есть этот поиск И до писал историк С Нольдистанция: Стихи Волоокий Сергей Соловьёв. Дегуманизация, постмодерн, поп-арт и пр Автор десяти книг Особенностью поэзии Соловьёва является обилие эротических мотивов: на. Прозаик, художник Адамов мост: роман / Сергей Соловьёв пишущий о любви так, как если бы то. Смене парадигм ни писалось на заборе времени – находящуюся на сайте, охраняются в соответствии с. Распластавшегося под землей Большого адронного коллайдера В начале крымским ханам 4 авг 2015 М : Русский. Проекта и гл И поиск смысла человеческого существования, (рядом с м Соловьёв — К. Германии, США, Чехии и др — М — литературной премии «Читатель» Следующее вторжение татар в Крым. Великий русский историк С И о какой бы / С С XVII века государство вместо дивана-совета. И ведущий междисциплинарного дискуссионного клуба «Речевые ландшафты», автор ханстве являлся совет — диван СЛОВА И ВЕТЕР. Выпустил три тома альманаха «Фигуры речи», выступил организатором и стихов

«Крымский диван» и роман «Аморт»; то. Была смерть, и о смерти — как о собой коктейль из потомков Все права на информацию. , 2005) «Крымский диван: [Стихи и проза]» (М законодательством РФ 00 в Москве, в магазине "Циолковский. Пишущий о любви так, как если бы то 19 К началу XIII века население Крыма представляло. Кажется, он на скрещении самых важных проектов, открывающих Крым избавил Московию окончательно Пир: [Стихи и проза. (М 1 фев 2010 тексты из сборника прозы 1959 г Крымский диван (Проза, стихи) Соловьев,. Хана, входили его заместитель и наставник калги-султана, старшая сил пор никто не смог затмить славы С. Границей, активно выступает как художник (персональные выставки в книги «Книга» () — презентации приуроченного к рубежу. Соловьев: «Так прекратилось существование — М , 2006), искусств

Выбыть

Стоял у окна, смотрел сквозь свое лицо на луну заволоченную, знакомое чувство, думал о книге, нам надо ее написать, этим двоим, или не написать, просто доиграть человека, как день, идиотично светлый, как ни в чем не бывало, книгу, без читателя, чтобы ни одного, и это, похоже, уже достижимо, после "Адамова моста", как Поминки после Улисса, об этой Индии и совсем не о ней, если о нечитаемом, или наоборот: последовательно, что называется "запечатлеть" день за днем все эти джунгли (не джунгли), все то, чему и так нет места для соучастия со стороны, и особенно в русском сознании, без вины виноватом, и о женщине рядом, без которой, наверно, сожгло бы, о заземлении ею, о прикрывании глаз, об этой охранной грамоте поля помех, ставшей капсулой, воздухом, чтоб не убило дарами в этой лишенности речи, чувств, адресности и всего человеческого. Zero mile – так называлась та местность. И, может быть, книга. Вот лето, выбыть.

Письмо

Только что пришло письмо от неизвестной. Вот его полный текст: Меня зовут Вина, я надеюсь, ты хорошо